



ВСТАВАЙ

Сергей Галактионов

Сергей Галактионов

Вставай!

«Автор»

2026

Галактионов С. В.

Вставай! / С. В. Галактионов — «Автор», 2026

Ане Черезовой двадцать лет. Она весит 122 килограмма, живёт в общежитии на Левобережной, сидит в последнем ряду аудитории и старается, чтобы её никто не замечал. Родная семья кормит её от любви, «лучшая подруга» подкалывает от скуки, преподаватели не запоминают её имени. Но одним мартовским утром Аня просыпается — и что-то в ней щёлкает. Не решение похудеть. Что-то большее: понимание, что жизнь у неё, оказывается, только одна, и второго шанса не будет. Понравится тем, кто читал Наринэ Абгарян, Селесту Инг, Дину Рубину, Элизабет Гилберт. За тринадцать месяцев она пройдёт путь, о котором мечтают миллионы: бассейн, бокс, танцы, театр, книга, блог на триста тысяч подписчиц, любовь, спасение чужой жизни в автобусе на Каширском шоссе. Но главное — она вернёт себе себя. Книга Ани Черезовой — это не про похудение. Это про то, как одна тихая женщина решает наконец жить и своим примером поднимает тысячи других.

© Галактионов С. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Тридцать первое марта	6
Глава 1. Двадцать пять раз в зеркале	8
Глава 2. Пельмени в чайнике	14
Глава 3. Полтора километра	22
Глава 4. Двадцать пять метров до себя	29
Глава 5. Инна Валерьевна	37
Глава 6. Человек, который чинит мешки	44
Глава 7. Двое из семерых	53
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Сергей Галактионов

Вставай!

Хозяйка». «Тело — это не тюрьма, из которой надо вылезти. Тело — это дом. Ваш. Он какой есть — с полными бёдрами, с большим животом, со шрамами, с растяжками — он ваш. И вы в нём — хозяйка. Не гость. Не жертва.

Пролог. Тридцать первое марта

Аня Черезова вошла в автобус в девятнадцать сорок три.

Она запомнила время, потому что посмотрела на телефон — не для того, чтобы что-то узнать, а по привычке, из тех бессмысленных привычек, которые не замечаешь, пока они не становятся последним, что ты сделал в жизни. Девятнадцать сорок три. Пятница. Двадцать восьмое число, автобус номер семьсот семнадцать, маршрут «Метро "Каширская" — Загорье». Внутри пахло тем, чем пахнет любой московский автобус в конце марта, — мокрой шерстью, талой солёной жижей с сапог, дешёвым освежителем, который водитель, судя по всему, купил в переходе за сто рублей и повесил над зеркалом, чтобы отогнать нечто худшее. Аня прошла в среднюю часть. Она всегда садилась в середине — там, где меньше трясёт и где никто не смотрит; толстые девочки знают эту географию наизусть, знают её так же, как капитан знает мели своего фарватера.

Она села у окна. Поставила рюкзак на колени — потому что на соседнее сиденье никто не садился рядом с ней никогда, но она всё равно ставила рюкзак так, будто оправдывалась перед пустотой. Достала наушники. Открыла книгу в телефоне — что-то там читала, что-то важное, но потом уже, после, она не смогла вспомнить, что именно, и это казалось ей отдельной, крохотной несправедливостью: последние сорок минут её жизни она провела с книгой, названия которой не помнила.

За окном тянулось Каширское шоссе. Мокрое, чёрно-серое, разлинованное красными огнями стоп-сигналов. Мартовская Москва, самая нелюбимая всеми Москва — не зимняя, не весенняя, а какая-то межеумочная, растекающаяся, стыдящаяся себя. Аня любила её именно такой. За то, что она была честной. За то, что не притворялась.

Мужчина вошёл на «Каширском проезде».

Аня не заметила его сразу — она смотрела в телефон. Потом что-то изменилось в звуке автобуса; звук — вот что она запомнила отчётливее всего, — потому что все автобусы гудят одинаково, но иногда этот гул на секунду обрывается, как будто кто-то большой и невидимый затыкает всем рты одной ладонью. Аня подняла глаза.

Мужчина стоял в проходе, покачиваясь. Ему было лет сорок пять, может, сорок семь. Куртка — старая, кожаная, некогда чёрная, теперь бурая от солей и времени. Лицо, которое бывает только у одного сорта людей: у тех, кого жизнь долго били куда попало, а они всё думали, что за что-то. В опущенной руке у него было что-то маленькое, тёмное, тупое. Аня не сразу поняла, что это пистолет. Пистолет казался игрушечным — травматический, наверное; она знала это слово, но никогда прежде не понимала, что оно означает вблизи.

— Ну что, — сказал мужчина, и голос его был не злой, не пьяный даже, а какой-то отчаявшийся, домашний, — что вы все такие? А?

Никто не ответил.

Автобус ехал. Водитель, отгороженный пластиковой кабиной, смотрел прямо перед собой — то ли не видел, то ли решил не видеть; Аня подумает потом, что не имеет права его осуждать, что каждый в этом автобусе выбрал в ту секунду не видеть, и она сама, тучная девочка у окна с рюкзаком на коленях, тоже сначала выбрала не видеть.

— Что вы все такие? — повторил мужчина громче. — Едете. Сидите. Молчите. А я вам говорю — всё. Всё, поняли?

Он поднял руку с пистолетом.

Ствол медленно, лениво, как стрелка испорченных часов, повернулся и остановился на старушке, сидевшей через проход от Ани. Старушка была маленькая, в вязаной шапке, с двумя авоськами у ног — в одной хлеб, в другой что-то в стеклянной банке, кажется, огурцы; Аня заметила огурцы совершенно отчётливо, как в замедленной съёмке, как будто мир решил в

эти секунды показать ей всё, что она не успела рассмотреть за двадцать лет. Огурцы. Вязаная шапка. Морщинистая рука, вцепившаяся в поручень так, что побелели костяшки. Глаза — не испуганные, а удивлённые, детские, будто старушка не поняла, что жизнь, которую она прожила, заканчивается вот так, между «Каширской» и «Загорьем», из-за пьяного человека в бурой куртке.

Аня встала.

Она не думала. Потом, много позже, она будет пытаться вспомнить, о чём думала в ту секунду, — и не вспомнит ничего, потому что в ту секунду не было ничего, о чём можно было бы думать; было только тело, огромное, тяжёлое, неповоротливое её тело, которое всю жизнь мешало ей, стеснялось, пряталось по серединам автобусов, — и это тело вдруг оказалось единственным, что стояло между стволом и старушкой в вязаной шапке.

Мужчина повернул к ней голову.

— Ты чего, — сказал он почти удивлённо. — Ты чего, толстая.

— Не надо, — сказала Аня. Голос у неё был не свой. — Пожалуйста. Не надо.

Мужчина смотрел на неё. Долго. Может быть, секунду — а может, целую жизнь; Аня успела за эту секунду подумать о матери, о том, как мать сегодня утром прислала фотографию из Екатеринбурга, торт «Прага», подпись «испекла, скучаю, ешь, когда приедешь», — и подумать, что теперь она никогда не съест этот торт, и что это почему-то самое обидное из всего, самое несправедливое.

Он выстрелил.

Звук был не такой, как в кино. Тихий, будто кто-то громко хлопнул книгой. Аня почувствовала удар — не боль, а именно удар, короткий, тупой, в живот, — и удивилась, что это, оказывается, не больно; больно стало через полсекунды, и это была не боль, а что-то большее, что-то, для чего у неё не было слова.

Она села. Медленно, аккуратно, как садятся очень усталые люди. Пол автобуса был липкий и холодный. Кто-то кричал — далеко, из-под воды. Старушка в вязаной шапке склонилась над ней, и Аня увидела её глаза — вблизи они были голубые, выцветшие, полные слёз, — и попыталась улыбнуться, чтобы старушка не боялась.

— Ничего, — прошептала Аня. — Ничего, бабушка. Всё хорошо.

Потом стало темно.

Темно было недолго. Или долго — Аня не знала; там, в темноте, время шло иначе, там его не было вовсе. Потом появился свет. Не белый и не жёлтый, а какой-то другой, для которого у людей не придумано названия, — свет, в котором не было ни жара, ни холода, только полное, окончательное, ничем не омрачённое понимание: всё.

Всё, что она успела. Всё, что не успела. Двадцать лет молчания, сорок минут в автобусе, полсекунды между выстрелом и падением.

Всё.

А потом кто-то большой и невидимый — тот самый, что затыкал ладонью рты, — наклонился к ней совсем близко и сказал ей на ухо одно короткое слово.

Аня открыла глаза.

Над ней был потолок общежития на Левобережной. Побелённый, в трещинах, с жёлтым пятном от давней протечки — тем самым пятном, которое она изучила наизусть за три года, потому что каждое утро, просыпаясь, смотрела в него и думала: ну вот, ещё один день.

Будильник на телефоне звенел мерзко и весело.

Аня медленно, боясь пошевелиться, повернула голову.

Экран телефона показывал: 14 марта. 07:00.

Год назад.

Глава 1. Двадцать пять раз в зеркале

Первое, что она сделала, — не пошевелилась.

Это было важно. Аня знала — не рассудком, а тем древним звериным знанием, которое сидит в затылке у каждого живого существа, — что если пошевелиться слишком резко, то всё разъедется, и потолок снова окажется мокрым полом автобуса, и жёлтое пятно от протечки станет её собственной кровью, и она снова услышит, как книга хлопает по книге, и снова сядет медленно и аккуратно, как садятся очень усталые люди. Поэтому она лежала. Смотрела в потолок. Дышала — сначала осторожно, в четверть груди, потом полегче, потом почти нормально.

Будильник продолжал звенеть.

Мелодия называлась «Утренний бриз» — так было написано в настройках; на деле это было завывание, отдалённо похожее на муэдзина, если бы муэдзин страдал бронхитом. Аня выбрала эту мелодию год назад — то есть в тот раз, в другой жизни, в жизни, которая закончилась в автобусе, — специально, потому что от неё нельзя было не проснуться. Другие мелодии она проспала бы. А эта поднимала на ноги мёртвого. Аня подумала об этом с очень тонкой, очень тихой, очень уместной иронией и осторожно, боком, потянувшись к телефону.

Экран не поменялся.

14 марта. 07:01.

Она отключила будильник. Тишина в комнате оказалась такой полной и тяжёлой, что у Ани заложило уши, — будто она нырнула на большую глубину и вода надавила со всех сторон. С соседней кровати доносилось ровное, обиженное сопение: Кристина спала, накрывшись одеялом с головой, из-под одеяла торчала только прядь крашенных светлых волос и голая пятка с облупленным розовым лаком на большом пальце. Кристина всегда спала так — как будто пряталась от мира, но одну пятку оставляла снаружи, на всякий случай, чтобы мир знал, что она тут и претензии его помнит.

Аня смотрела на эту пятку долго.

Год назад — то есть завтра, то есть сегодня, то есть в той жизни, которая уже, кажется, была, — Кристина проснётся в восемь двадцать, посмотрит на неё мутными глазами и скажет: «Черезова, ты уже жрёшь?» — потому что Аня к тому времени будет доедать в чайнике второй пакет пельменей. Аня знала это с той же отчётливостью, с какой знают собственное имя. Она знала, что через сорок минут Кристина зевнёт, сядет на кровати, потянется, скажет про пельмени, потом полезет в свою косметичку, потом уронит косметичку, потом выругается — обязательно словом «блин», Кристина никогда не ругалась хуже, — потом пойдёт в душ, потом вернётся, потом накрается ровно семнадцать минут, потом схватит сумку, потом крикнет с порога: «Черезова, я на пару, пока!» — и хлопнет дверью. И так триста шестьдесят пять раз. Триста шестьдесят пять «блинов», триста шестьдесят пять «пока», триста шестьдесят пять хлопков дверью.

Аня знала весь этот год наизусть. Как таблицу умножения. Как «Отче наш», который бабушка Тамара заставила её выучить в шесть лет — «на всякий случай, Анечка, никогда не знаешь». Бабушка Тамара знала, что говорила. Никогда не знаешь.

Она села на кровати.

Медленно, потому что тело было чужое. То есть — своё, конечно, до боли своё, до последней складки на боку, до последнего сантиметра растяжки на бедре, — но одновременно чужое, потому что ещё пять минут назад, ещё две минуты, ещё секунду это тело было пробитое пулей, липкое от крови, оседающее на пол автобуса. А теперь оно сидело на продавленной общажной кровати в мягкой ночнушке с надписью «BEST GIRL» — ночнушку эту в позапрошлом году подарила ей мать, привезла из Турции, и Аня всегда носила её дома, потому что она была большая и хорошо на ней сидела, и потому что мать, даря её, сказала: «Смотри, Анюта, тебе

подходит», — и это была одна из тех редких материнских фраз, за которые держишься потом всю жизнь.

Аня опустила глаза на живот.

Живот был на месте. Большой, круглый, знакомый — с тремя поперечными складками и родинкой сбоку, чуть повыше пупка. Аня подняла край ночнушки. Провела ладонью там, где должна была быть дыра. Кожа была тёплая и целая. Ни шрама, ни рубца, ни синяка — ничего.

Она надавила пальцами. Сильнее. Ещё сильнее. Ей нужно было почувствовать боль — настоящую, простую, физическую, — чтобы убедиться, что всё это (потолок, пятка Кристины, ночнушка) — правда. Боль пришла — тупая, глупая боль оттого, что ты сама себя тычешь в живот. Аня выдохнула.

— Живая, — сказала она вслух. Голос был хриплый, севший, но свой.

Комната ей не ответила.

Она посидела ещё немного, слушая. Ждала: сейчас что-то произойдёт. Что-то должно было произойти. Голос сверху. Свет в углу. Всплывающая надпись в воздухе — как в тех дурацких китайских комиксах, которые ей когда-то показывал двоюродный Женька: «Задание номер один. Награда — сто очков». Аня даже мельком поймала себя на том, что ждёт этой надписи, — и удивилась, что ждёт, и рассердилась на себя за ожидание. Ничего не появлялось. Никто ничего не говорил. Была ночнушка, была Кристина, было жёлтое пятно, был вторник четырнадцатого марта.

И была она сама — Аня Черезова, двадцати лет, сто двадцати двух килограммов, третий курс МГУКИ, культурология, комната триста семнадцать общежития на Левобережной, — которая полторы минуты назад умирала на полу семнадцатого автобуса, а сейчас сидела и держалась ладонью за собственный живот, целый и тёплый.

Она встала.

Пол был холодный. Аня знала этот холод наизусть — линолеум в комнате триста семнадцать не грелся никогда, даже в июле; она вспомнила это раньше, чем ступни коснулись пола, и знание этого крохотного холода — тоже линолеумного, тоже своего — окончательно, кажется, что-то в ней замкнуло. Она пошла к двери. В коридоре пахло, как всегда: хлоркой, дешёвым дезодорантом с седьмого этажа, чьей-то яичницей, чьими-то мужскими носками. В общем конце коридора горела лампочка — жёлтая, слабая; в другом конце сидела в своём стеклянном закутке тётя Валя, вахтёрша. Аня сделала три шага и остановилась.

Тётя Валя.

Тётя Валя должна была быть на месте. Тётя Валя всегда была на месте — она дежурила сутки через двое, и, по расписанию, которое Аня знала не то чтобы наизусть, но помнила из общего фона общажной жизни, — по расписанию сегодня, четырнадцатого марта, была её смена. Аня сделала ещё шаг и посмотрела вдоль коридора. Тётя Валя сидела в закутке. В сером байковом халате поверх водолазки, с распущенными седыми волосами, с чашкой в одной руке и разгаданным кроссвордом в другой. Читала. Пила чай. Существовала.

— Ань, — сказала тётя Валя, не поднимая глаз, привычно, буднично, точно так же, как всегда, — ты чего в такую рань? Пожар?

Аня открыла рот.

Она хотела сказать что-то простое — «нет», или «в туалет», или «показалось». Но во рту всё разъехалось; язык не слушался, губы дрожали, и вместо ответа у неё вырвалось совершенно другое:

— Тётъ Валь.

— Ну?

— Какой сегодня день?

Тётя Валя оторвалась от кроссворда и посмотрела на неё поверх очков. Взгляд у тёти Вали был из тех, которыми смотрят люди, повидавшие всё, — доброжелательный, но без иллю-

зий; она видела в этом коридоре пьяных, беременных, обкурившихся, влюблённых и просто дур — и всех классифицировала одним и тем же долгим внимательным взглядом.

— Вторник, Ань. Четырнадцатое. Ты чего, приболела?

— Нет, — сказала Аня. — Спасибо.

Она развернулась и пошла обратно.

Уже у двери в свою комнату она услышала, как тётя Валя вздохнула у себя в закутке, — точно так же, как вздыхала всегда, увидев на этаже что-нибудь, что не поддавалось классификации.

Аня зашла в комнату. Прикрыла дверь. Прислонилась к ней спиной.

— Хорошо, — сказала она комнате. Комната опять не ответила. — Хорошо, Аня. Всё хорошо. Ты жива. Ты жива, у тебя не болит живот, у тебя вторник четырнадцатое марта, ты в общежитии на Левобережной, и тётя Валя сидит на месте, и Кристина спит, и мир на месте.

Она перевела дыхание.

— Только автобус, — сказала она уже тише. — Только автобус, Аня. Только это никуда не денется.

Она подошла к столу, где стоял её ноутбук, и открыла его. Ноутбуку было четыре года, он тарахтел, как трактор, и грелся с левого края; Аня знала это тарахтенье наизусть. Она открыла браузер. Забила в поиск: «14 марта новости». Появилась дата, появились заголовки. Оползень в Дагестане. Заседание Госдумы. Курс доллара — семьдесят четыре тридцать. Пожар на складе в Люберцах. Всё то, что было год назад. Всё то, что она помнила.

Аня закрыла ноутбук и села на кровать.

Кристина под одеялом заворочалась, что-то пробормотала, снова затихла.

Аня посмотрела в её сторону — на светлую прядь, на пятку с облупленным лаком, — и вдруг поняла с полной, окончательной, ничем не омрачённой ясностью, точно такой же, какая была у неё в свете там, в том промежутке между жизнями: это не сон. Сны так не устроены. Сны врут в деталях. Сны придумывают неправильные телефонные номера, забывают лица родственников, путают комнаты и лестницы. А тут — родинка на её собственном животе была там, где ей положено. Пятка Кристины была та самая. Лампочка в коридоре мигала ровно с той частотой, с какой мигала всегда. Тётя Валя сказала «Ань» — не «Анна», не «Черезова», не «девушка», а «Ань», потому что тётя Валя за три года запомнила, как её зовут, и звала так и только так. Никакой сон не мог бы столько всего запомнить.

Значит, всё было правдой.

И то, что перед этим — тоже правдой.

Аня закрыла глаза.

Она думала, что заплачет. Она даже приготовилась — набрала воздуха, чуть задрала подбородок, чтобы слёзы не потекли по щекам сразу, — но слёз не было. Внутри неё оказалось очень тихо и очень пусто, как в комнате, из которой только что вынесли всю мебель: пылинки летали, отпечатки на полу от диванных ножек ещё виднелись, а больше не было ничего. Она просидела так минуту. Может, две. Потом открыла глаза, поднялась и пошла в душ.

В общажной душевой в этот час не было никого. Аня разделась.

Она делала это, как всегда, — быстро, отвернувшись от большого зеркала над раковинами; толстые девочки умеют не смотреть на себя, это тоже одно из их искусств. Стянула ночнушку. Аккуратно сложила её на скамейку — привычка от матери, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволяла бросать одежду. Стянула трусы. Не глядя пошла к весам, которые стояли в углу, — казённым, обшарпанным, с треснувшим стеклом, но точным; она проверяла.

Встала.

Стрелка дёрнулась, качнулась, поплыла вправо. Аня смотрела в стену.

Она знала, что там будет. Она помнила эту цифру. Помнила её так же, как помнят день рождения матери, номер школы, отчество классной руководительницы, — эта цифра сидела в ней последние два года плотно, как камешек в ботинке. И всё же — всё же — она не хотела смотреть.

Она посмотрела.

Сто двадцать два.

Ровно сто двадцать два. Ни ста двадцати одного, ни ста двадцати трёх — сто двадцать два, как отекавший.

Аня сошла с весов.

И вот тут — не когда она увидела потолок, не когда пощупала живот, не когда услышала «Ань» от тёти Вали, — а тут, стоя голой на холодном кафеле рядом с треснувшими весами, — вот тут её наконец пробило.

Не слёзы. Хуже.

Её сложило пополам, как складывают ненужный лист бумаги, — она села прямо на кафель, обняла колени, насколько получилось (получалось плохо, живот мешал), уткнулась лбом в собственное плечо и заскулила. Тихо, беззвучно, как раненое животное скулит в углу сарая, — потому что кричать бесполезно, потому что никто не услышит, потому что слышать её тут, в общажной душевой, в семь пятнадцать утра во вторник четырнадцатого марта, было решительно некому. Она скулила долго. Она скулила про мать, которая испекла ей торт «Прага» и никогда, никогда, никогда не узнает, что дочь его так и не съела. Она скулила про бабушку в вязаной шапке. Про Лёшу, который отдал ей своё пальто в девятом классе, потому что Ане не купили новое, а её старое уже расходилось по швам. Про Костю, который в четырнадцать лет побил на пять лет старшего пацана за то, что тот назвал Аню коровой во дворе. Про Димку, который в шесть лет плакал, если Аня уезжала, потому что «а кто мне будет читать, если тебя нет». Про отца, молчаливого, надёжного, простого, — как он молча снимал сапоги в прихожей, молча садился к столу, молча ел, молча смотрел «Время», а потом, укладывая её маленькую в кровать, всегда говорил одну и ту же фразу: «Спи, Анюта, папа с тобой». Она скулила про Прагу-торт и про пальто и про «папа с тобой», и про то, что могла всё это потерять, и потеряла, и вот теперь ей это вернули — вернули просто так, ни за что, будто вручили пакет с чужой площадки, где перепутали адрес, — и она не знала, что с этим пакетом делать.

Она сидела на кафеле — большая, голая, некрасивая, — и скулила.

Никто её не видел.

Когда она поднялась — прошло минут десять, может, пятнадцать — у неё дрожали ноги, а лицо было мокрое не от воды. Она открыла кран. Встала под душ — горячий, слишком горячий, но ей было нужно, чтобы жгло. Мыла себя жёсткой мочалкой — так, как в детстве её мыла бабушка Тамара, беспощадно, до розового; бабушка Тамара считала, что кожу нужно тереть, «а то залежится». Аня терла. Плечи. Живот. Бёдра, каждую складку по отдельности. Впервые в жизни — впервые, поняла она, — она смотрела на своё тело не отворачиваясь. Не с ненавистью и не с любовью, а как смотрит хозяйка на давно запущенную квартиру, в которую наконец-то решила вернуться жить: вот тут надо будет чинить, вот тут переставить, вот тут я не бывала лет пять, надо посмотреть.

Она вышла из душа. Вытерлась. Обернулась полотенцем.

И только тут — только теперь — подошла к большому зеркалу над раковиной.

Оно было потрескавшееся, с пятнами амальгамы; в углу приклеен кем-то дурацкий стикер с розовым фламинго. Аня встала прямо перед ним. Посмотрела.

Из зеркала на неё смотрела женщина.

Не «девочка», как называли её в семье; не «девушка», как называли её в университете; не «толстая», как её называли на улице (иногда прямо, чаще про себя — Аня научилась это читать по лицам). Женщина. Большая, тяжёлая, с мокрыми волосами, слипшимися на висках; с

покрасневшими от слёз глазами; с двойным подбородком, с полными руками, с грудью, которая слишком быстро тянула плечи вниз. Женщина с лицом, которое было бы красивым, — Аня видела это только сейчас, впервые за двадцать лет впервые честно посмотрев, — которое было бы красивым, если бы его хозяйка когда-нибудь потрудилась в него поверить.

Аня смотрела долго.

Потом она открыла рот и — тихо, но чётко, шевеля губами, как учат актёров, — сказала:

— Я живая.

Женщина в зеркале сказала то же самое.

— Я живая, — сказала Аня снова, чуть громче.

Женщина повторила.

— Я живая.

— Я живая.

— Я живая.

Она считала. Не потому что было надо считать, а потому что если не считать, она перестала бы верить. Один. Два. Пять. Десять. На десятом голос дрогнул, но не сорвался. На пятнадцатом ей показалось, что она уже произносит не слова, а звук — глубокий, гортанный звук, каким шаманы, наверное, вызывают что-то из-под земли. Пятнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Она уже почти шептала — не потому что стеснялась, а потому что в горле не осталось силы; но каждый раз шевелила губами так, чтобы женщина в зеркале точно услышала, чтобы не было ни одного сомнения.

Двадцать пять.

На двадцать пятый раз она замолчала.

Женщина в зеркале смотрела на неё. Тихо. Спокойно. С каким-то очень серьёзным, взрослым выражением, которое Аня никогда раньше в собственном лице не видела и о существовании которого не подозревала. И в этот момент — не в утробе света, не под потолком, не на весах, а именно тут, перед треснувшим зеркалом с розовым фламинго в углу, — Аня Черезова впервые в жизни подумала одну ясную, простую, окончательную мысль:

Это не второй шанс. Это первый.

Ту, что была до автобуса, — ту, что двадцать лет прожила, извиняясь за то, что занимает место, — той никогда не было по-настоящему. Она была черновиком. Наброском. Пробой пера, которую жизнь стёрла ластиком тридцать первого марта в семнадцатом автобусе. А сейчас — сейчас начинался первый чистовик. И то, что кто-то там, наверху, или где-то ещё, или нигде — то, что кто-то дал ей этот чистовик, значило ровно одно: ей теперь нельзя больше писать чепухой.

Аня опустила голову.

Постояла ещё минуту. Потом собрала вещи, оделась (медленно, аккуратно, как одеваются перед делом), и пошла обратно в комнату.

Кристина как раз начинала возиться под одеялом. Из-под края высунулся сначала один сонный глаз, потом второй, потом взлохмаченная макушка.

— Черезова, — простила Кристина, — сколько времени?

— Восемь двадцать, — сказала Аня.

— Я умерла.

— Нет, — сказала Аня очень серьёзно. — Ты живая.

Кристина уставилась на неё сквозь свои сонные щёлочки. Что-то в голосе Ани — Кристина не поняла, что именно, но что-то, — заставило её на секунду замереть; она даже приподнялась на локте.

— Ты чего сегодня такая?

— Какая?

— Не знаю. Странная.

Аня подумала.

— Наверное, — сказала она наконец, — я плохо спала.

— А, — сказала Кристина, теряя интерес, и рухнула обратно в подушку. — Тогда понятно. Слушай, а в чайнике пельмени есть?

Аня посмотрела на чайник.

Он стоял на тумбочке — белый, пузатый, с треснувшей крышкой, — и был совершенно пуст. Аня всё ещё не начинала. Аня их с вечера не варила. И вдруг она поняла с полной, будничной ясностью: и не сварит. Ни сегодня. Ни завтра. Ни в этой жизни.

— Нет, — сказала Аня. — Пельменей нет.

— Свари, а?

— Нет, — повторила Аня. — Не сварю.

Кристина хмыкнула что-то в подушку. Аня стояла посреди комнаты, в чистой футболке и растянутых спортивных штанах, и смотрела на пустой чайник.

За окном был вторник, четырнадцатое марта, семь тридцать одна утра.

До тридцать первого марта следующего года у неё оставалось триста восемьдесят два дня.

И ни одного лишнего.

Глава 2. Пельмени в чайнике

День прошёл так, как проходят все дни на третьем курсе МГУКИ, если ты Аня Черезова: скверно, но терпимо.

Пары начались в девять. Культурология народов России — лекция, на которую Аня всегда опаздывала, потому что Кристина занимала ванную ровно сорок минут, а Аня не умела конфликтовать и поэтому просто ждала, сидя на кровати в полотенце, пока из ванной не выйдет облачко пара и запаха шампуня «Л'Ореаль», который Кристина покупала себе, а Ане — нет, потому что «Черезова, тебе это не поможет». Сегодня Аня ждала так же. Она ещё не умела — или не решилась — менять то, что можно было менять легко. Менять то, что требовало слова, столкновения, выставленного вперёд подбородка, — она начнёт потом, не сегодня; сегодня она только смотрела.

Кристина вышла из ванной в двадцать девять минут девятого — розовая, влажная, прекрасная в своей худобе; худоба у Кристины была та, редкая, сортовая, которая не требует усилий, — кости, просто кости, и поверх костей кожа, и поверх кожи одежда, и всё это выглядело так, будто так и надо, будто иного варианта не существует. Кристина при виде Ани, всё ещё сидевшей в полотенце, сказала:

- Черезова, ты же опоздаешь.
- Я знаю.
- Ну и чего сидишь?
- Жду, когда ты освободишься.

Кристина фыркнула — тем особенным фырканием, в котором нет ни злобы, ни настоящей насмешки, а есть только привычка, привычка относиться к человеку так, как относишься к старой мебели: не то чтобы не ценишь, но и не замечаешь особенно. Кристина не была злой. Это Аня знала твёрдо, так же твёрдо, как знала свой вес. Кристина была просто — такой. Такой, какой её сделали двадцать лет жизни без единого препятствия, без единого случая, когда мир сказал бы ей «нет»; и мир говорил ей «да» — всегда, во всём, — потому что мир устроен так, что красивым худым девочкам он говорит «да», а толстым — «подожди», и Кристина научилась этому «да» так же естественно, как Аня научилась «подожди».

Аня встала, прошла в ванную. Закрывает дверь. Встала перед тем же зеркалом — только тут свет был хуже, желтее, и лицо в нём казалось круглее, чем обычно. Она посмотрела на себя. Долго. Как смотрят на портрет, который пишут: оценивая не красоту, а работу.

Ну вот, — подумала она. — Вот ты. Вот твоё лицо. Твои плечи. Твой живот. Это всё — ты. И ты больше не будешь извиняться за это.

Она произнесла это мысленно твёрдо. Но когда выходила из ванной — одетая, причёсанная, готовая к лекции, — то всё равно машинально стянула живот. Не потому что хотела казаться тоньше. А потому что двадцать лет стягивания нельзя отменить за одно утро.

Ладно, — подумала она. — Начнём с малого.

Лекция была в корпусе на улице Марксистской. Аня ехала туда на метро — фиолетовая ветка, от «Технопарка» до «Марксистской», двадцать две минуты под землёй. Она стояла у двери вагона, как всегда, потому что сиденья в метро сконструированы людьми, которые считают, что все люди узки в бёдрах, и железный выступ между сиденьями впивается Ане в ноги так, что через пять минут она не чувствует ступней. Она стояла, держась за поручень, и читала — не книгу, а расписание паров, которое она переписала вчера вечером в общаге, потому что расписание поменялось, и она это помнила, и ей нужно было убедиться, что она помнит правильно. Убедилась. Помнила правильно.

Кристина ехала с ней в одном вагоне, но не рядом — в другом конце, у противоположной двери, с какой-то девочкой с журфака, с которой они дружили со второго курса. Кристина

смеялась, запрокинув голову; её смех был слышен даже сквозь гул вагона, потому что Кристина смеялась так, как всё делала — легко, громко, не сомневаясь, что мир рад её смеху. Аня смотрела на неё издали и думала: я не злюсь. Я больше не злюсь. Я только вижу.

Это была новая способность — видеть. Не «замечать» — Аня замечала всегда; толстые девочки замечают всё, они наблюдатели по необходимости, потому что если ты не заметишь опасность первой, она случится с тобой. Но видеть — это другое. Видеть — значит понимать, что стоит за тем, что ты замечаешь. За смехом Кристины стояла уверенность. За молчанием Ани — привычка к невидимости. Она видела это сейчас — видела так отчётливо, будто кто-то подписал каждую деталь её жизни жирным маркером: «Вот это — твой выбор. А вот это — тоже твой выбор. И вот это, хотя ты думала, что это не выбор, — тоже выбор, просто ты его не заметила».

Лекцию читал профессор Глебов — маленький, лысый, с усами, как у моржа, и с голосом, от которого клонило в сон даже тех, кто сидел в первом ряду. Аня сидела в последнем, как всегда, — в углу, у стены, потому что в углу стулья чуть шире, и её стул не скрипит так жалобно. Она слушала вполуха. Она знала этот курс — знала его из будущего, из той жизни, где она уже сдала его на «хорошо» и где профессор Глебов никогда, ни разу за весь семестр, не посмотрел на неё и не вызвал; он звал только тех, кого видел, а Аню он не видел, потому что Аня была невидимая — для Глебова, для Кристины, для мира вообще, — и это её устраивало, потому что невидимость была безопасна.

Не устраивает, — подумала она сейчас, записывая в тетрадь что-то про шаманизм народов Севера. — Больше не устраивает.

Но что с этим делать — она пока не знала. Она только записывала.

После лекции — пара Инны Валерьевны, эстетика. Аня ждала этой пары с тем особым, чистым, хорошо знакомым ей предвкушением, с каким ждёшь зубного врача: не потому что хочешь, а потому что надо, и потому что ты уже знаешь, что будет больно, и поэтому готовишься. Инна Валерьевна Штольц — высокая, худая (конечно худая, в мире Инны Валерьевны не существовало иных форматов), одетая в серый кашемир и замшевые ботинки, с идеальной укладкой коротких тёмных волос и с очками в тонкой титановой оправе, — Инна Валерьевна преподавала эстетику так, как преподносят причастие: с видом человека, который знает, что вкус — это вопрос спасения, и что те, кто его лишён, — погибнут.

Аня села на своё место — в последнем ряду, у стены. Достала тетрадь. Открыла на чистой странице. И стала ждать.

Инна Валерьевна начала семинар с обсуждения Канта — «Критика способности суждения», параграф девятнадцатый, прекрасное как символ нравственно доброго. Аня слушала. Остальные студенты — двадцать три человека, из которых она могла поимённо назвать девятнадцать, потому что за два с половиной года выучила, даже если не общалась, — студенты отвечали вяло, как всегда отвечают в девять утра в марте. Инна Валерьевна раздражалась — это было видно по тому, как она снимала и надевала очки, по тому, как её ноздри чуть раздувались, по тому, как замшевые ботинки начинали постукивать по полу.

— Итак, — сказала Инна Валерьевна, обводя аудиторию взглядом, — кто скажет, чем прекрасное отличается от приятного у Канта?

Тишина.

— Никто? — Инна Валерьевна сняла очки. Протёрла их. Надела. — Никто не прочитал параграф?

Тишина была та, которая бывает в аудиториях, где все прочитали, но никто не хочет отвечать, потому что ответить — значит выделиться, а выделиться — значит стать мишенью для следующих вопросов. Аня знала эту тишину. Она сама её строила — годами.

— Черезова, — сказала Инна Валерьевна.

Аня подняла глаза.

Инна Валерьевна стояла у кафедры и смотрела на неё — не на кого-то, а именно на Аню, — и во взгляде её было то, что Аня всегда читала как презрение, но что сегодня, с новым своим зрением, увидела иначе: нет, не презрение. Раздражение. Сложное, многослойное раздражение человека, который смотрит на то, что считает своей неудачей.

— Черезова, вы прочитали параграф?

— Да, — сказала Аня.

— Ну и?

Аня молчала. Инна Валерьевна ждала. В аудитории тоже ждали — все двадцать три человека, и каждый из них, Аня знала, сейчас думал одно и то же: «Бедная Черезова, опять её». Это была своя, особая порция жалости — жалости не за неё, а вместо неё, — и прежде Аня всегда глотала эту порцию, как таблетку, от которой не легче, но привычка сильнее, и вот сегодня она посмотрела на эту таблетку и подумала: не буду.

— Прекрасное, — сказала Аня, — у Канта не связано с понятием пользы. Оно не удовлетворяет желание, оно нравится без интереса. Приятное — наоборот, связано с желанием и удовольствием. Прекрасное — общезначимо. Приятное — лично.

Она сказала это спокойно, негромко, но чётко, — и в аудитории стало очень тихо, потому что Черезова, толстая Черезова из последнего ряда, никогда не отвечала так; она вообще почти никогда не отвечала.

Инна Валерьевна смотрела на неё.

— Без интереса, — повторила она медленно, и в голосе её было что-то, что Аня не могла разобрать, — вы сказали, без интереса. — Она помолчала. — Черезова, прежде чем рассуждать о прекрасном, может быть, стоит начать с себя?

Аудитория не вздохнула — вздохи были бы слишком громки; аудитория замерла, как замерает стадо, когда хищник хватает одну из них. Кто-то отвёл взгляд. Кто-то уткнулся в тетрадь. Кто-то — Аня увидела краем глаза — Костя Синицын, третьекурсник с философского, который всегда сидел у окна и рисовал на полях, — Костя нахмурился и перестал рисовать.

Аня не покраснела. Она думала, что покраснеет — всегда раньше краснела, всегда, с пятого класса, с того самого дня, когда Ленка Карпова сказала на перемене «Черезова, ты же как шар, хи-хи», — с того дня и до вчерашнего Аня краснела при каждом публичном ударе, краснела так, что уши горели и слёзы подступали, и она глотала их, глотала, глотала. Сейчас — нет. Сейчас внутри было тихо и холодно, как в том автобусе перед выстрелом, и эта холодность не была бесчувственностью, нет, — это было что-то другое, что-то, чему у неё до сих пор не было названия, но что она теперь чувствовала: ясность.

— Я ответила на вопрос, — сказала Аня. — Если мой ответ неверен, исправьте, пожалуйста.

Инна Валерьевна сняла очки. Протёрла. Надела.

— Ответ верен, — сказала она ровным, мёртвым голосом. — Давайте продолжим.

И продолжила. Аня записывала. Инна Валерьевна больше её не вызывала. Но между ними, в воздухе, на уровне третьего ряда от окна, висело что-то — не проговоренное, не разрешённое, — и Аня знала, что это не конец.

После пар — обед в столовой. Аня стояла в очереди с подносом. Очередь двигалась медленно, как всегда; раздатчица тётя Нина, грузная женщина с золотым зубом и руками, которыми она накладывала картофельное пюре так, будто это был кирпичный раствор, — тётя Нина знала Аню в лицо и всегда клала ей чуть больше, с тихой, неоговорённой солидарностью, — то ли потому что сама была крупная, то ли потому что видела, как Аня ест, — не жадно, нет, но основательно, с тем серьёзным, почти молитвенным вниманием, с каким едят люди, для которых еда — не топливо, а убежище.

Сегодня тётя Нина положила Ане картошки, added котлету и спросила:

— Компот будешь, доча?

Аня посмотрела на поднос. Котлета — свиная, в панировке, с золотистой корочкой. Картошка — горка, густо политая маслом. Кусок чёрного хлеба. И компот — прозрачный, с плавающим кружком лимона.

То, что она ела каждый день. Каждый день уже два с половиной года. Каждый день — потому что это было дешево, потому что это было много, потому что это было вкусно, и потому что после того как съешь всё это, на двадцать минут, на полчаса становилось тихо — внутри, там, где иначе гудело.

— Нет, — сказала Аня. — Спасибо, тётя Нина, без компота.

Тётя Нина не удивилась — удивляться было нечему, — но чуть задержала разливатель над кастрюлей. Аня взяла поднос и пошла к столу.

Она села. Отрезала кусок котлеты. Положила в рот.

И вот тут случилось.

Котлета была на месте — свиная, в панировке, горячая, — и вкус был на месте — тяжёлый, солёный, утешительный, — и всё было так, как было всегда, но Аня вдруг поняла, что ест не голод. Она никогда не ела голод. Она ела тишину. Ела то, что должно было на двадцать минут заткнуть гул — тот гул, который стоял в ней с детства: «ты слишком большая, ты слишком много, ты занимаешь место, ты — лишняя». Еда не убивала этот гул. Еда на двадцать минут заглушала его. А потом он возвращался — и приносил с собой стыд, и стыд требовал новой еды, и новая еда давала новые двадцать минут, и так по кругу, и так по кругу, и так триста шестьдесят пять дней в году, и так двадцать лет подряд, и так всю жизнь — длинную, тихую, невидимую жизнь, — пока не оборвалось в автобусе.

Аня положила вилку.

Котлета была съедена на треть. Картошка — нетронута. Хлеб — нетронут. Аня смотрела на тарелку и видела не еду. Видела привычку. Ритуал. Цепь. Тяжёлую, железную, неразрывную цепь, которой она сама себя приковала к этому стулу, к этому подносу, к этой раздатчице, к этому гулу, — и ключ от цепи был не у матери, не у братьев, не у Кристины, не у Инны Валерьевны, — ключ был у неё. У неё одной. И всё это время он лежал на видном месте, она просто не смотрела.

Она встала. Отнесла поднос на мойку. Котлета и картошка остались на тарелке — тётя Нина посмотрела на них, потом на Аню, но ничего не сказала; только покачала головой — чуть-чуть, почти незаметно.

Вечером, в общежитии, Аня сидела на кровати и смотрела на посылку.

Посылка пришла вчера — или, точнее, придёт завтра; в той, другой жизни она пришла вчера, и Аня помнила, как вскрывала её, сидя на этой же кровати, при Кристине, — помнила, как Кристина сказала «ooo, черезовские гостинцы!», и как они вместе ели стужёнку из банки, грязно, пальцами, хохоча, и это был один из тех редких моментов, когда Ане было хорошо с Кристиной по-настоящему. Посылка лежала на тумбочке — картонная, оклеенная скотчем, с надписью «Москва, Левобережная, 3/17, Черезовой Анне». Почерк матери — круглый, ровный, с завитушками на заглавных буквах, — почерк, который Аня узнала бы из миллиона, потому что им были написаны все записки в школьный рюкзак («Анюта, я положила тебе яблоко, ешь на второй перемене, не жди обеда»), все открытки на день рождения («Родная моя девочка, будь счастлива, мама»), и одно письмо — единственное, — которое Аня перечитывала каждый раз, когда было совсем плохо; в том письме, написанном два года назад, когда Аня уезжала в Москву, мать вывела крупно, на целый лист: «Анюта, если что — мы рядом. Ты только скажи. Мама».

Аня не сказала. Ни разу за два года. Ни разу не позвонила и не сказала: «Мам, мне плохо. Мам, я толстая. Мам, меня не видят. Мам, я боюсь». Не сказала, потому что знала: мать ответит «езжай домой, я тебя накормлю», — и это будет любовь, и это будет правда, и это будет именно то, от чего Аня бегала, только не умела сформулировать.

Она взяла посылку. Вскрыла.

Внутри — как всегда. Банки: тушёнка (две, «Великолуцкий мясокомбинат», мать покупала только эту, потому что отец работал там в девяностых, до того как завод встал, и считал её настоящей), варенье (малиновое, мамино, из тех, что она закатывает в августе по тридцать банок, и каждая — как маленький горячий август в стекле), сгущёнка (одна банка, «Рогачёв», белорусская, дефицитная, мать доставала её через Валю, соседку, чья сестра работала на базе). И ещё — внизу, завернутая в газету «Аргументы и факты», — пачка печенья «Юбилейное», и сверху, в целлофановом пакете, — сухарики с солью, которые делала бабушка Тамара, и к которым Аня была равнодушна, но бабушка клала их всегда, потому что «сухарики долго не портятся, Анечка, мало ли».

Аня разложила всё на кровати.

Тушёнка. Варенье. Сгущёнка. Печенье. Сухарики.

Она сидела перед ними, как перед алтарём.

И вот тут — именно тут, именно в эту секунду, — она вспомнила.

Ей было восемь.

Новый год. Квартира в Екатеринбурге, на Уральской, третий этаж, большая комната, ёлка — настоящая, пахнущая хвоей и холодом, — стол, накрытый так, будто ждали полк. За столом — все. Лёша, пятнадцать, уже высокий, уже мужской, уже смотрит на женщин так, как смотрят мужчины, — но Ане подмигивает и подсовывает конфету под салфетку. Костя, двенадцать, рассказывает что-то смешное про физику, потому что Костя уже тогда был про физику, — и всем скучно, но все слушают, потому что Костя. Димка, пять, на коленях у отца, потому что Димка боялся хлопушек, а ёлочные бенгальские огни считал хлопушками. Четыре двоюродных — Артём (четырнадцать, серьёзный, в костюме, потому что мать заставила), Руслан (одинадцать, дуется, потому что не получил то, что хотел), Паша (девять, уже спит, уткнувшись в плечо Артёма), Женька (семь, бежит вокруг стола и орёт, потому что Женька). И бабушка Тамара — во главе стола, в своём неизменном бежевом платье с брошью, маленькая, мощная, командующая.

— Анечке ещё, — командовала бабушка Тамара.

И Лёша клал. И Костя клал. И Артём клал. И Руслан клал — неохотно, но клал. И Женька нёс конфету, которую только что сам хотел съесть, — нёс, потому что «Аньке, Аньке надо, она маленькая».

— Анечке ещё.

Оливье. Холодец. Пирожки с мясом. Мандаринки — по три, по четыре, горки. Торт — нарезанный, на большом блюде, и Анина порция — самая большая, всегда самая большая, потому что «Анечка у нас любит сладкое, правда, Анечка?»

— Правда, — говорила Аня.

И ела. Ела, потому что это было вкусно. Ела, потому что все смотрели и улыбались, и в этих улыбках была такая любовь — такая огромная, такая неуклюжая, такая единственно возможная для Черезовых форма любви, — что отодвинуть тарелку означало бы отвергнуть любовь. Отказаться от добавки — оскорбить бабушку. Не доест холодец — расстроить мать. Не взять вторую мандаринку — заставить Лёшу хмуриться («Черезова, ты чего, болеешь?»). Еда была языком. Единственным языком, на котором Черезовы умели говорить «я тебя люблю», и Аня с детства знала этот язык так же, как знала русский, — и на нём, как на русском, ответом на «я тебя люблю» могло быть только «и я тебя», а «и я тебя» на языке Черезовых означало «дай мне ещё».

Аня ела.

Ела в восемь, в десять, в двенадцать, в шестнадцать, в двадцать — ела весь год, каждый год, все двадцать лет, — и к двадцати весила сто двадцать два килограмма, и ненавидела себя за это, — и никогда, ни разу, ни на одну секунду не думала, что ненавидит не себя. Что она

ненавидит язык. Язык, который не умел говорить «я тебя люблю» иначе как через добавку, — и на котором она не умела ответить иначе как через «дайте ещё».

Аня сидела перед банками.

Тушёнка. Варенье. Сгущёнка. Печенье. Сухарики.

Восемь, Новый год, Лёша подмигивает, бабушка командует, мандарины горками.

Она протянула руку — к сгущёнке. Пальцы уже на крышечке. Уже нашли край. Уже привычно, легко, не думая — потому что не думать было проще, потому что не думать было безопасно, потому что не думать означало оставаться в языке, в ритуале, в любви, в семье, в «Анечке ещё», — пальцы уже почти отвернули крышечку.

Аня отдернула руку.

Так резко, будто обожглась. Сгущёнка осталась на месте — белая, жёлтая, с синей этикеткой, с нарисованной коровой, — а Аня смотрела на свою руку, на свои пальцы, короткие, толстые, с мозолкой на среднем от ручки, и думала.

Думала долго.

Потом встала. Поставила тушёнку на полку — самую верхнюю, до которой не дотянешься не вставая на стул. Варенье — туда же. Сгущёнку — туда же. Печенье — туда же. Сухарики — туда же. Всё, до чего нельзя дотянуться просто так, сидя на кровати, в три часа ночи, когда гул станет невыносимым и пальцы сами потянутся к банке, — всё это теперь наверху, за пределами привычки, за пределами ритуала, там, куда нужно дотянуться сознательно, — а сознательно, может быть, она не дотянется. Может быть, дотянется. Посмотрим.

Кристина вернулась в шесть — со свидания, или с пары, или откуда ещё возвращают двадцатилетние худые девочки в марте; Аня не спрашивала. Кристина плюхнулась на кровать, стянула сапоги — каждый упал на пол с глухим стуком, — и сказала:

— Черезова, я умираю с голоду. Есть чё?

Аня посмотрела на неё.

Посылка на полке — верхняя полка, далеко. В чайнике — пусто. В холодильнике — пакет молока, срок годности завтра, и половина батона, засохшего.

— Нет, — сказала Аня. — Пельменей нет.

— В смысле — вообще?

— В смысле — я не сварила.

Кристина уставилась на неё так, будто Аня сказала, что солнце взойдёт на западе.

— Ты не сварила пельмени.

— Нет.

— Ты — Аня Черезова — не сварила пельмени.

— Нет, Крис.

— Ты чего?

Аня помолчала. Потом сказала — негромко, но твёрдо, тем новым голосом, который вчера услышала у зеркала и который всё ещё удивлял её саму:

— Я не хочу.

Кристина открыла рот. Закрыла. Открыла опять. В её голове происходило что-то, что Аня видела почти физически — шестерёнки крутились, цеплялись, буксовали; в мире Кристины Аня Черезова не сварить пельмени было событием порядка солнечного затмения: невозможно, но невероятно, и требовало объяснения.

— Ты заболела? — спросила Кристина наконец.

— Нет.

— Тебя кто-то обидел?

— Нет.

— Тогда чего?

Аня легла на кровать. Натянула одеяло до подбородка. Закрыла глаза.

— Я просто не хочу, — повторила она. — Спокойной ночи, Крис.

Кристина что-то пробормотала — Аня не разобрала, но по тону поняла: «ну и фиг с тобой». Потом зашуршела пакетом — видимо, нашла-таки батон, — потом щёлкнула выключателем. Темнота.

Аня лежала в темноте.

Живот урчал. Он урчал давно — тихо, на дне, как урчит котёл центрального отопления в подвале: не громко, но постоянно. Аня прислушалась к этому урчанию — внимательно, почти с нежностью. Она голодна. Настояще, физически, по-живому голодна. Это ощущение было — новое. Не то чтобы она никогда не голодала; голодала, конечно, между парами, когда не успевала в столовую, — но это был другой голод, голод-неудобство, голод-помеха. А это был голод-присутствие. Голод, который говорил: ты живая, и твоё тело знает, чего хочет, и сейчас оно хочет есть, и это нормально, и ты услышишь это, и решишь, и решение будет твоим.

Решение было — не есть. Не сейчас. Не эту сгущёнку, не эти сухарики, не этот батон. Не потому что есть было нельзя. Есть было можно. Но есть сейчас, в три часа ночи, от гула, от привычки, от языка, на котором «я тебя люблю» звучало как «возьми ещё», — это было не решение. Это было подчинение. А Аня больше не подчинялась.

Она повернулась на бок. Подмяла подушку. Сжала край одеяла в кулаке — так, как сжимают край парашюта перед прыжком.

И уснула.

Автобус приснился ей в четверть третьего.

Она не помнила, как заснула — просто вдруг оказалась там, в салоне, — и всё было как тогда: запах мокрой шерсти, освежитель над зеркалом, её рюкзак на коленях, и мужчина в бурой куртке, и пистолет в его руке, и старушка с авоськами, и огурцы в стеклянной банке, и голос, который сказал «ты чего, толстая», и выстрел — тихий, как хлопнувшая книга, — и боль, и пол, и старушкины голубые глаза, и «ничего, бабушка, всё хорошо», и темнота.

Аня проснулась.

Она сидела на кровати — рывком, как выдёргивают из воды, — и сердце колотилось так, что рубашка ходила ходуном на груди. Пот — на лбу, на шее, между лопаток. Темнота — в комнате, на этаже, в окне. Кристина спала, пятка торчала из-под одеяла. На часах — два четырнадцать.

Аня опустила ноги на пол. Прохладный линолеум — знакомый, свой. Сжала кулаки. Разжала. Посидела так, глядя в темноту, слушая, как пульс медленно, упрямо возвращается на место.

Триста восемьдесят два дня, — подумала она.

Триста восемьдесят два дня, и потом — он.

Виталий Крутов, или как его там. Мужчина в бурой куртке. С пистолетом. В автобусе номер семьсот семнадцать.

Через год он войдёт на остановке «Каширский проезд». Через год он поднимет пистолет. Через год старушка в вязаной шапке будет сидеть через проход от меня, и в её авоське будут огурцы в стеклянной банке.

И я — я буду сидеть у окна.

Или — не буду.

Или — я не сяду в этот автобус вообще. Спрячусь. Пережду. Позвоню в полицию заранее. Сделаю что-нибудь — что-нибудь, — чтобы не оказаться там.

Или — сяду.

Аня не знала. Пока — не знала. Это незнание сидело в ней, как камень: тяжело, неповоротливо, и нельзя его сдвинуть, и не на что его опереть, и он давит, и давит, и давит.

Но было и другое — другое, что сидело рядом с камнем, такое же тяжёлое, но живое.

Я вставала, — подумала Аня. — Там, в автобусе, я вставала. Когда все молчали — я вставала. Когда пистолет был направлен на старушку — я вставала. Я не думала. Я просто — вставала.

Значит, я могу вставать.

Значит, я умею.

Значит, это — во мне есть.

Она легла обратно. Натянула одеяло. Закрыла глаза. Живот урчал — тихо, неотвязно. Завтра будет первый день без пельменей. Завтра будет первый день, когда она встанет не потому, что надо, а потому что — решила. Завтра будет первый день нового голода — не того голода, который заглушает, а того, который двигает.

За окном гудел запоздалый трамвай.

Аня Черезова, двадцати лет, сто двадцати двух килограммов, третий курс МГУКИ, комната триста семнадцать, общежитие на Левобережной, — Аня Черезова лежала в темноте и слушала трамвай, и город, и собственное урчание, и тишину спящей Кристины, и далёкий, как с другой планеты, гул своего сердца, — и думала:

Триста восемьдесят два дня.

Ни одного лишнего.

Глава 3. Полтора километра

Кроссовки лежали на антресолях.

Аня знала об этом так же, как знала про жёлтое пятно на потолке и про облупленный лак на пятке Кристины, — знала фоновым, ленивым знанием, к которому никогда не обращалась. Кроссовки эти купила ей мать четыре года назад, когда Аня заканчивала одиннадцатый класс и мать вбила себе в голову, что «дочке нужна физкультурная форма, а то в институте ещё пригодится»; кроссовки были белые с розовым, «Демикс», рыночные, тридцать девятый размер, и в них Аня за все четыре года прошла ровно два раза — оба раза до магазина и обратно, — потому что они жали, потому что они выглядели глупо на её ногах, потому что физкультура в институте отменилась после первого курса, и вообще потому что бегать. Толстые девочки не бегают. Толстые девочки ходят. Медленно, ровно, дыша ртом на подъёмах, — но бегать они не бегают, потому что бегать — это унижение публичное, это трясущиеся щёки, это шаркающие ноги, это чужие взгляды в спину, это то, чего ни одна толстая девочка не выберет добровольно, потому что жизнь и без того подсовывает ей достаточно унижений, чтобы ещё добавлять свои.

Аня стояла на стуле в семь двадцать три утра и снимала кроссовки с антресолей.

Стул шатался — общажный стул, три ножки на честном слове, — и Кристина, спящая на своей кровати, что-то забормотала, но не проснулась. Аня достала обувную коробку. Слезла со стула — аккуратно, боком, чтобы не рухнуть. Села на кровать. Открыла крышку.

Кроссовки были на месте. Белые с розовым, слегка пожелтевшие от четырёх лет лежания, с картонной подошвой, которая уже кое-где отходила от резины, — но целые. Аня взяла один в руку. Он весил ничего — сто граммов, может, полтора. Она вспомнила, как мать выбирала их на рынке в Екатеринбурге, у той самой Гали, у которой Черезовы покупали обувь всю жизнь, — Галя, увидев Аню, покачала головой: «Валь, у тебя дочка растёт, а ноги как у ребёнка, тридцать девятый, чудо какое-то»; и мать засветилась от гордости, будто маленькие ноги были её личной заслугой. Аня стояла тогда рядом, восемнадцатилетняя, сто десять килограммов, — и думала: вот единственное, что у меня маленькое. Ноги. Спасибо и на том.

Она надела кроссовки. Носки у неё были только хлопковые, обычные, толстые — беговых носков она никогда в жизни не покупала, потому что зачем. Затянула шнурки. Постояла в комнате. Кроссовки жали — но не так, как она помнила; за четыре года нога, кажется, немного села, или картон разносился, или память врала. Аня прошлась. Пол общажной комнаты не давал возможности пройти больше пяти шагов; она сделала пять шагов туда, пять обратно, ещё раз. Ноги шли. Кроссовки не разваливались.

Ладно, — подумала она. — Годится.

Она посмотрела на себя в маленькое зеркало над раковиной — то, что висело в комнате, для лица. Растянутые спортивные штаны — купленные ещё для дачи, для сна, для «полежать»; кофта — старая, серая, с надписью «Уралмаш», подаренная одним из братьев (кажется, Костей), с растянутыми манжетами. Волосы — собранные в хвост наспех, торчат прядями. Лицо — без макияжа, слегка помятое. Полное, круглое лицо толстой девочки в спортивной одежде — самый неудобный, самый несфотографируемый, самый уязвимый вариант толстой девочки, потому что спортивная одежда обещает то, что тело не может выполнить, и это обещание висит на тебе, как чужой рюкзак.

Аня посмотрела на это отражение. Посмотрела долго. Потом сказала — тихо, чтобы Кристина не проснулась:

— И плевать.

И вышла.

В коридоре было пусто. В стеклянном закутке дежурила уже не тётя Валя, а Нина Петровна — сменщица, помоложе, покрасивше, с крашеными в цвет «баклажан» волосами и веч-

ной жвачкой во рту. Нина Петровна работала в общаге второй год, Аню в лицо не знала — то есть, конечно, знала, но не отличала от прочих третьекурсниц, — и, когда Аня прошла мимо, только скользнула по ней взглядом и вернулась к телефону, где играла в какую-то раскладку. Аня спустилась по лестнице. На первом этаже пахло свежесваренным кофе — кто-то из вахты уже поставил чайник, — и этот запах, привычный, будничный, зацепил Аню, как крючок за одежду, и на секунду ей захотелось развернуться, подняться обратно, забраться под одеяло, забыть. Забыть про кроссовки. Про Царицыно. Про триста восемьдесят два дня. Про всё.

Она не развернулась.

Открыла дверь. Ступила на крыльцо.

Мартовский воздух ударил в лицо — сырой, тяжёлый, пахнувший талой землёй и бензином. Небо было низкое, серое, ровное, как крышка кастрюли; ни солнца, ни ветра — только эта неподвижная серость и запах города, просыпающегося после ночи. На часах — семь тридцать семь. Двор общежития — обычный двор общежития на Левобережной: асфальт в лужах, три «Жигуля» и одна «Тойота» на парковке, качели, на которых уже никто не качается лет пятнадцать, помойные баки — переполненные, как всегда после выходных, — и одинокая ворона на этих баках, недоверчиво посмотревшая на Аню, будто оценивая: жертва или конкурент.

Аня пошла к воротам.

Шаги давались тяжело. Не физически — физически она проходила такие расстояния каждый день, до метро и обратно, — а как-то иначе, по-новому; каждый шаг был решением. Каждый шаг говорил: ты идёшь бегать. Ты. Идёшь. Бегать. Ты знаешь, что это будет плохо. Что будешь задыхаться на второй минуте. Что тебя увидят. Что тебя пожалеют или посмеются, и оба эти варианта хуже безразличия. И ты всё равно идёшь. Каждый шаг был чуть тяжелее предыдущего. К воротам Аня дошла с ощущением, что перешла Альпы.

Она вышла на улицу.

Царицыно от Левобережной — не рядом; Царицыно вообще на другом конце Москвы, зелёная ветка, полчаса на метро. Аня не поехала в Царицыно. Она пошла в Дружбу — парк у метро «Речной вокзал», сорок минут ходьбы или пятнадцать на автобусе, — потому что Царицыно она вспомнила уже дома, когда представляла себе «где буду бегать», а на самом деле не бежать же ей полтора часа до Царицына и обратно, чтобы там пробежать полкилометра и вернуться. Дружба — вот. Ближе. Реалистичнее.

Она пошла пешком. Автобуса ждать не хотелось — не потому что не было денег (проездной), а потому что автобус — это Ощущение автобуса, и Аня не была готова к нему в семь сорок утра, натошак, в кроссовках «Демикс», с сердцем, которое билось в горле от одного только замысла. Она пошла пешком. По улице Флотской, мимо булочной, из которой уже пахло сдобой (Аня старательно не смотрела и не дышала), мимо школы номер шестьсот сорок какая-то, мимо магазина «Пятёрочка», ещё закрытого, мимо парикмахерской «Милена», в витрине которой сидели три манекеновые головы с ужасными синтетическими париками, — и через двадцать минут дошла до парка.

Парк Дружбы весной, в семь пятьдесят пять утра, во вторник, — это, оказалось, отдельный мир. Аня не знала, что этот мир вообще существует; она была в парке Дружбы, конечно, — гуляла с Кристиной летом, ела мороженое, сидела на скамейке, — но всегда днём, всегда среди людей. А сейчас — сейчас парк был почти пустой. Только один старик выгуливал таксу — тощую, дрожащую от холода таксу в клетчатом пальтишке, — и одна женщина в спортивном костюме шла по дорожке быстрым шагом, размахивая руками. И ещё двое — далеко, на противоположной аллее — бежали. Настоящие бегуны, в правильной экипировке, в ярких куртках, легко и ровно, как бегут те, кто бегают.

Аня встала у входа.

Дорожка уходила вглубь парка — асфальтированная, узкая, слегка мокрая от ночного дождя. Голые деревья по сторонам, между ними — молодая жёсткая трава, местами прошло-

годняя, серо-жёлтая. Скамейки — пустые. Урна. Ещё одна урна. Указатель «Пруд — 400 м». Аня стояла и смотрела на этот указатель.

Четыреста метров до пруда.

Она решила утром, лёжа в постели, что сегодня — просто дойти до пруда и обратно. Не бежать. Просто дойти. Восемьсот метров туда-обратно — это меньше километра, это ерунда, это Аня проходила каждый день до метро и не замечала. Это будет разминка. Пристрелка. Знакомство с местом. Просто — прийти, дойти, вернуться. Никаких подвигов. Начать с малого.

Она сделала первый шаг по дорожке парка.

Она дошла до пруда за семь минут.

Пруд был серый, гладкий, с плёнкой мокрого мусора у кромки; на дальнем берегу торчали камыши, местами ещё в снегу, и утка — одна утка, толстая, серая, деловая, — переваливалась по льду. Аня остановилась. Постояла. Она не задыхалась. Она чувствовала только, что колени тяжёлые и что ноги в кроссовках начинают чуть-чуть ныть в подъёме, — но это была не боль, это было приятное ноющее ощущение, что тело работает, что оно сделало что-то, о чём не подозревало по будильнику.

Ну вот, — подумала Аня. — Ты дошла. Ты жива. Возвращайся.

И она уже почти повернулась. Уже сделала полшага в обратную сторону.

И тут — вдруг, из ниоткуда, из-под самого сердца — поднялось что-то, чего Аня не ждала: злость.

Не большая злость. Маленькая, тугая, конкретная. Злость на себя — но не старая, не привычная («ну какая же ты дура, Черезова»), а новая: злость на то, что она собирается развернуться и уйти.

Восемьсот метров, — подумала она. — Восемьсот несчастных метров, и ты возвращаешься с ощущением, что совершила подвиг. Ты пришла сюда не для того, чтобы совершать подвиг. Ты пришла сюда, потому что через триста восемьдесят два дня ты должна будешь встать в автобусе, перехватить руку с пистолетом и не позволить старушке с огурцами умереть. Восемьсот метров, Черезова. Восемьсот. И ты гордишься.

Она не развернулась.

Она посмотрела вдоль дорожки — дальше пруда. Дорожка изгибалась, уходила за пруд, скрывалась за поворотом, и там — Аня помнила по летним прогулкам — там был мостик через ручей, а за мостиком — большая поляна с фонтаном (сейчас, конечно, отключённым), а за поляной — вторая аллея, и она вела обратно к главному входу другим маршрутом. Весь круг — километра полтора, может, чуть больше. Она проходила его с Кристиной в июле, ели мороженое, болтали, было легко.

Ладно, — подумала Аня. — Полтора километра. Пойдём.

И пошла.

Первые четыреста метров она шла нормально — тем же ровным шагом, каким ходят по городу. Хорошо шла. Дыхание ровное, ноги слушаются. Утка на пруду проводила её деловым взглядом. Аня даже подумала, что зря она так драматизировала — ну полтора километра, ну и что; она проходит больше каждый день, просто в другом контексте, а в контексте «я иду в парк, чтобы двигаться» это ощущается иначе, но по сути — то же самое.

Потом начался подъём.

Подъём был крохотный — метров пятьдесят, не больше, — вдоль пруда, мимо детской площадки к мостику. В обычной жизни, идя за молоком в «Пятёрочку», Аня бы его не заметила. А тут заметила. Потому что тут она шла уже двадцать минут — двадцать минут не абы куда, а именно чтобы двигаться, — и тело, которое всю жизнь двигалось только по необходимости, тело, которое ходило от общаги до метро и обратно и считало, что этого достаточно, — это тело вдруг обиделось.

Аня остановилась на середине подъёма. Она задыхалась.

Не то чтобы совсем — не «умираю», не «сейчас упаду», — но задыхалась ощутимо. Дыхание сбилось. Сердце застучало не в груди, а высоко, у горла. Лицо, она чувствовала, горит. По спине, между лопаток, побежала тонкая струйка пота. Она положила руку на дерево — молодой клён, тонкий, прохладный, — и оперлась. Постояла. Смотрела на асфальт под ногами.

Асфальт был потрескавшийся. В трещинах пробивался мох. Комок собачьей шерсти лежал у бордюра. Обёртка от «Сникерса», вытоптанная в грязь до состояния бумажной оладьи. Аня смотрела на этот сникерсовый лоскут — и вдруг ей ужасно захотелось есть. Не сладкого. Просто — есть. Тело, обиженное на подъём, требовало компенсации, требовало утешения, требовало старого своего лекарства — большого, тёплого, сытного, — и мозг послушно предложил ей картинку: пельмени в чайнике, дымящиеся, со сметаной. Аня зажмурилась.

— Отстань, — сказала она вслух пельменям.

Потом открыла глаза, оттолкнулась от клёна и пошла дальше.

На мостике её нагнала бегунья.

Аня услышала её задолго до того, как та поравнялась, — размеренный, уверенный топоток, «шик-шик-шик» кроссовок по асфальту. Аня даже не оглянулась. Она знала, что сейчас её обгонят, и знала, что это будет неприятно, — не потому что бегунья скажет что-то, а потому что бегунья пробежит мимо, и Аня почувствует то, что толстые чувствуют, когда мимо них проносится жизнь: вот так должно быть, а у меня — не так. Она смотрела перед собой, на мостик, на серую воду ручья под мостиком, и ждала, когда «шик-шик-шик» пройдёт мимо.

Бегунья поравнялась. Не обогнала — поравнялась и пошла рядом.

Аня, не выдержав, скосила глаз.

Это была женщина лет пятидесяти, а может и шестидесяти, — Аня не была уверена; высокая, поджарая, седая, с короткой стрижкой, в чёрных беговых лосинах и красной ветровке, с наушниками в одном ухе. Лицо у неё было обветренное, спокойное, с сеточкой морщин у глаз — из тех лиц, которые не гонятся за молодостью, а живут в возрасте, как в удобной куртке. Она бежала легко — легче, чем шла бы Аня, — и, поравнявшись, вдруг перешла на шаг, посмотрела на Аню без любопытства и без жалости и сказала:

— Идёте?

— Иду, — ответила Аня.

— Хорошо, — сказала бегунья. — Хорошо, что идёте. Первый раз?

Аня открыла рот. Хотела соврать. Соврать было проще — «нет, не первый», «я тут гуляю», «я жду подругу», — набор отговорок, которые толстые девочки держат наготове всю жизнь. Но что-то в этой женщине — не пристальность, а как раз наоборот, полное отсутствие пристальности, — сбilo её с обычного маршрута.

— Первый, — сказала Аня. — Первый настоящий.

Женщина кивнула.

— Тогда так, — сказала она, и голос у неё был ровный, слегка хриловатый, — тогда, девушка, вот что. Не бегите. Ходите. Хоть год, хоть два, но ходите. У меня знакомая начала в пятьдесят два, при весе сто десять. Через два года пробежала полумарафон. Через два — понимаете?

Аня посмотрела на неё.

— Понимаю, — сказала она.

— И вот ещё что. — Женщина уже слегка приплясывала на месте — тело просилось обратно в бег. — Не смотрите на бегунов. На меня не смотрите. Ни на кого. Слушайте только своё дыхание. Всё остальное — ерунда.

Она подмигнула — почти по-детски, — и побежала дальше. «Шик-шик-шик» удалялось.

Аня стояла на мостике и смотрела ей вслед.

Женщина скрылась за поворотом. Аня осталась одна. Она стояла на деревянном мостике, потемневшем от вечной сырости, и слушала — как учили: своё дыхание. Дыхание было тяжё-

лое, но уже почти ровное. Сердце — на месте, в груди, а не в горле. Ноги — гудят, но не подкашиваются. Аня положила ладонь себе на грудь — над сердцем — и подержала её так с полминуты. Потом сняла руку и пошла дальше.

Полтора километра она добила за пятьдесят три минуты.

Это было смешно. Это было унизительно медленно. Это было со всеми паузами, со всеми отдышками, со всеми «постою у дерева, погляжу на утку». Здоровый человек прошёл бы этот круг за двадцать минут, не сбив дыхания. Бегунья пробежала бы за восемь, не запыхавшись. Аня прошла — за пятьдесят три. Она посмотрела на часы — не потому что засекала (не догадалась), а потому что вспомнила про пары, — и увидела, что уже почти девять, и что первая пара, культурология Востока, начинается в девять, и что она опоздает минут на сорок, если поедет на метро сейчас же.

Опоздаю, — подумала Аня. — Пусть.

Она села на скамейку у выхода из парка. Ноги гудели. Пятки — она это чувствовала кожей — были стёрты; хлопковый носок сбился в кроссовке в комок и тёр всю дорогу, а Аня терпела, потому что не хотела снимать кроссовки посреди парка. Лицо горело. Кофта «Урал-маш» на спине была насквозь мокрая. От неё, наверное, пахло — Аня попробовала принюхаться и не поняла; своё она никогда не разбирала.

И вот тут, сидя на этой скамейке, с гудящими ногами, стёртыми пятками, мокрой спиной и опозданием на пары, — Аня Черезова засмеялась.

Тихо, коротко, для себя.

Засмеялась, потому что это было — смешно. Смешно, что она — она, Черезова, которая двадцать лет считала себя человеком, для которого движение противопоказано природой, — она сейчас сидит на скамейке в парке Дружбы, вся мокрая, и гордится тем, что прошла полтора километра. Смешно, что полтора километра — это, оказывается, много. Смешно, что бегущая мимо чужая женщина сказала ей «не смотрите на бегунов», и от этих слов у Ани в груди стало тепло — теплее, чем от всей материнской сгущёнки, лежащей сейчас на верхней полке. Смешно, что она опоздает на культурологию Востока. Смешно, что ей — всё равно.

Она посидела на скамейке ещё пять минут. Потом встала и пошла к метро.

Культурология Востока началась без неё в девять. Аня зашла в аудиторию в девять сорок две. Преподаватель — молодой аспирант, замещающий кого-то, — посмотрел на неё, но ничего не сказал; молодых аспирантов Аня не боялась, они сами всех боятся. Она села на своё место в последнем ряду, у стены. Достала тетрадь. Открыла на чистой странице.

И тут поняла, что у неё дрожат руки.

Не сильно — тонкая, мышечная дрожь, — но заметно. Аня положила руки на стол ладонями вниз и подержала так минуту. Дрожь не унималась. Тело говорило: «ты вспотела, потом остыла, на тебя дунуло в метро, ты натошак, и у тебя всё гудит; либо ты сейчас поешь, либо я устрою тебе спектакль». Спектакля Аня не хотела. Она достала из рюкзака яблоко — единственное, что успела схватить утром, поспешно, ещё когда завязывала кроссовки, — и стала есть его прямо на паре, тихо, за учебником, как в школе.

Яблоко было — самое обычное. Из «Пятёрочки», позавчерашней покупки, чуть подмятое с одного бока. Но она откусила — и на секунду замерла. Вкус был. Настоящий, яркий, почти удивительный. Кисло-сладкий, с той свежестью, которую даёт зимнее хранение, чуть травяной; на языке остался холодок, а в носу — тонкий, тонкий запах, будто где-то далеко цветёт яблоневый сад. Аня никогда не замечала, что у яблок есть вкус. То есть, конечно, знала, что есть, — но никогда не замечала, не пробовала внимательно; яблоко было тем, что грызут между делом, чем-то мелким, недостаточным, «не еда». А сейчас — сейчас яблоко было еда. Настоящая, живая, полная.

Она доела яблоко за десять минут — маленькими укусами, вдумчиво. Огрызок положила на подоконник, чтобы потом выкинуть. Дрожь в руках прошла.

Ух ты, — подумала Аня, вернувшись к записыванию за аспирантом.

Ух ты.

Это была очень тихая мысль. Но какая-то новая.

Вечером она сидела на кровати и разглядывала свои ступни.

Стерлись обе пятки — по большому пузырю на каждой, — и ещё сбоку, на мизинце левой ноги, тоже кожа съехала. Аня разглядывала эти пузыри с любопытством, как разглядывают чужие раны в кино: не с ужасом, а с интересом. Она никогда раньше не натирала ноги, потому что никогда столько не ходила в неудобной обуви. Сейчас натёрла. Ну и что. Заживёт.

Кристина сидела на своей кровати с ноутбуком и смотрела сериал. В сериале кричали по-корейски. Кристина ела чипсы «Лейс» — тот сорт, что со сметаной и луком, — с громким хрустом, и пальцы у неё были розовые от порошка. Она уже минут двадцать не обращала на Аню никакого внимания — а потом вдруг обратила.

— Черезова, — сказала она, не отрываясь от корейцев. — Ты чего с ногами?

— Натёрла.

— Где?

— В парке.

— В каком парке?

— В Дружке.

Кристина оторвалась от экрана. Медленно повернула голову. Посмотрела на Аню долгим, недоумевающим взглядом. Хруст чипсов прекратился.

— В Дружке, — повторила она. — Ты. В парке Дружки. Утром.

— Да.

— Что ты там делала?

— Ходила.

— Просто ходила?

— Просто ходила.

Кристина ещё посмотрела на неё. Потом сказала — очень медленно, взвешивая каждое слово, как ювелир взвешивает камень:

— Черезова. У тебя всё в порядке?

Аня подняла глаза.

Кристина сидела на кровати — худая, красивая, с розовыми пальцами, с корейцами, кричащими из ноутбука, — и во взгляде у неё было что-то такое, чего Аня раньше не видела. Не насмешка. Не безразличие. Что-то очень редкое для Кристины: беспокойство. Настоящее, короткое, но беспокойство. Кристина боялась. Кристина, которую мир всегда носил на руках, — вдруг увидела, что подруга её меняется, — и это её испугало. Не за подругу. За себя.

Аня поняла это в одну секунду, полностью, ясно — и ей стало жалко Кристину. Не так, как жалеют слабых. Так, как жалеют тех, кто ещё не знает, что скоро пойдёт снег.

— В порядке, Крис, — сказала Аня. — Я просто немного двигаюсь. Всё нормально.

Кристина посмотрела ещё секунду. Потом хмыкнула, отвернулась, снова захрустела чипсами. Корейцы на экране закричали громче.

— Только не превращайся в этих, — сказала Кристина, — знаешь, в фитоняшек. Ужасно противно.

— Не превращусь, — пообещала Аня.

И это была правда. В фитоняшку ей превращаться было некуда и незачем. Ей было нужно другое.

Она встала. Пошла в душ. Смыла с себя пот, парковую сырость, метро, аудиторию, столовский суп (взяла куриный, без второго; тётя Нина посмотрела, но не сказала). Вернулась в комнату. Легла.

И только теперь, лёжа с потушенным светом, — только теперь она обратила внимание на то, что не заметила весь день. На локоть.

Тот шрам. Маленький, полулунный, с тыльной стороны левого локтя. Она вспомнила его позавчера — то есть вчера — то есть в первый день, — когда стояла в душевой; заметила, удивилась, но забыла в потоке всего остального. А сейчас, лёжа в темноте, машинально почесала локоть — и наткнулась пальцами на этот шрам. Провела по нему подушечкой указательного. Он был. Плотный, гладкий, чуть выпуклый, как след от старой ссадины.

Аня зажмурилась, вспоминая.

Автобус. Она падает на пол. Локоть первым чирикает о ребро сиденья — острое, металлическое; она чувствует секундную боль, но потом становится не до неё, потому что живот; она падает на бок, локоть подгибается, кровь мешается с кровью, и она забывает про этот локоть навсегда.

Значит, это оттуда, — подумала Аня. Спокойно. Даже не удивившись.

Значит, кое-что оттуда всё-таки перешло сюда. Не рана — рана заросла. Шрам. Крохотный полулунный шрам от металлического ребра сиденья автобуса номер семьсот семнадцать, маршрут «Каширская — Загорье», тридцать первое марта, следующего года, — этот шрам сейчас лежал на её левом локте, тихий, невидимый под кожей, как подпись под документом.

Аня открыла глаза. Посмотрела в темноту.

Значит, всё правда, — подумала она.

Ещё раз. Ещё окончательнее, чем в первое утро. Ещё бесповоротнее. Потому что тело не врёт. Потолок мог быть галлюцинацией; тётя Валя могла показаться; зеркало могло обмануть — но шрам, крохотный, глупый, аккуратный шрам на локте, шрам, который не мог появиться ни от чего в этой жизни, потому что за прошедшие двадцать лет Аня не падала на металлическое ребро сиденья автобуса, — шрам был доказательством. Единственным. Своим.

Она провела по нему пальцем ещё раз. Тихо, почти нежно.

Ты со мной, — подумала она — не то шраму, не то той себе, той, что осталась на полу автобуса. — Ты со мной. Спасибо.

Ноги гудели. Пятки под пластырями подёргивало. За окном моросил дождь — Аня слышала, как капли ложатся на подоконник с той особенной, ровной, весенней настойчивостью, с какой ложится только мартовский дождь в Москве. Кристина в темноте что-то бормотнула во сне.

Аня закрыла глаза.

Полтора километра, — подумала она. — Пятьдесят три минуты. Смешно. Хорошо.

Завтра — два.

И уснула.

Глава 4. Двадцать пять метров до себя

Бассейн назывался «Дельфин».

Так было написано над входом — синими буквами по белой пластиковой вывеске, — «Плавательный бассейн "Дельфин", МГУКИ». Ниже, шрифтом помельче: «Часы работы: 07:00–22:00. Абонемент — в 214 каб.». Ещё ниже, от руки, чёрным маркером, на приклеенном скотчем листке А4: «Справка от врача ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Без справки не пускаем!!!!» Четыре восклицательных знака в конце. Аня стояла перед этим листком в среду, двадцать второго марта, в семь пятнадцать утра и читала его в четвёртый раз, будто с четвёртого раза восклицательные знаки могли исчезнуть.

Они не исчезали.

Аня развернулась и пошла в поликлинику.

Поликлиника — та, к которой она была прикреплена как студентка, — находилась на улице Речников, в двадцати минутах ходьбы от общаги. Аня знала её с первого курса, когда получала справку для физкультуры; знала терапевта Ольгу Юрьевну, знала регистраторшу тётю Раю, знала запах в коридоре — тот особенный поликлинический запах, в котором смешаны спирт, линолеум, страх и «Актимель» из чьей-то сумки. Она пришла в восемь ноль пять. У кабинета терапевта уже сидело шестеро, и все шестеро — с тем же выражением обречённого терпения на лице, которое Аня знала наизусть.

Она села.

Достала телефон. Открыла блог, который вела не она, а какая-то незнакомая женщина, о которой Аня даже не помнила, как на неё подписалась, — женщина писала про бег, про то, как начинала в сорок лет с четырёхсот метров, про то, как первый год плакала после каждой пробежки. Аня читала. Читала, и одновременно ей было немного стыдно — так стыдно, как бывает стыдно за тайное подглядывание за чужой жизнью, — потому что читала она не из интереса; читала, чтобы найти подтверждение. Чтобы кто-то, где-то, чужой, незнакомый, сказал ей: «И у меня было так. И я справилась. Значит, ты справишься тоже».

Приняли её в девять сорок.

Ольга Юрьевна — женщина лет пятидесяти пяти, в очках на цепочке, с седеющим каре, — сидела за столом, спиной к окну, и заполняла карточку предыдущего пациента. Не подняла глаз, когда Аня вошла. Аня села на стул для посетителей. Прождала ещё две минуты — Ольга Юрьевна писала долго, старательно, будто вырезала слова из дерева, — потом наконец подняла глаза.

— Черезова. — Она открыла Анину карточку. — Что у нас на этот раз?

— Мне нужна справка. В бассейн.

Ольга Юрьевна медленно посмотрела поверх очков.

— В бассейн, — повторила она. — Вы?

Аня почувствовала, как у неё сжалось где-то под рёбрами. Но она уже, оказывается, немножко научилась — за эти неполные две недели, — не убегать от таких взглядов; научилась стоять в них, как стоят в холодной воде: неприятно, но переживаемо.

— Я, — сказала Аня.

Ольга Юрьевна ничего не ответила. Она встала, взяла тонометр, кивнула Ане: «Закатайте рукав». Померила давление. Прослушала лёгкие. Заставила подышать глубоко — Аня подышала, — потом задержать дыхание, — Аня задержала. Ольга Юрьевна что-то писала. Молча. Долго.

Потом села обратно, положила ручку и посмотрела на Аню — уже не поверх очков, а через них, — уже как на человека, а не как на карточку.

— Аня, — сказала она. — У вас давление сто сорок пять на девяносто пять. В ваши двадцать. Это гипертония первой стадии. У вас, если я правильно вижу по последней записи, сто двадцать два килограмма?

— Да.

— И вы хотите в бассейн.

— Да.

— Одна?

— Одна.

Ольга Юрьевна сняла очки. Положила их на карточку. Помолчала.

— Слушайте, — сказала она наконец, и голос у неё изменился; стал не сухой, не поли-
клинический, а какой-то другой, домашний, — слушайте, милая. Я справку вам выпишу. Мне для этого хватает. Но давайте, я вам просто по-человечески скажу. Хорошо?

Аня кивнула.

— Плавание — это самое лучшее, что вы можете сейчас для себя сделать, — сказала Ольга Юрьевна. — Самое лучшее. Понимаете? Не бег, не тренажёры, не эти ваши танцы. При вашем весе бегать нельзя — колени вы себе сотрёте за полгода, и до сорока будете хромать. Плавание — можно. Вода держит. Суставы разгружены, сердце работает, всё тело — работает. Ходите. Три раза в неделю, минимум. Медленно. Не спешите. И ещё — купите себе нормальный купальник, слитный, спортивный, не эти ваши, — она махнула рукой, — а нормальный, чёрный, "Аренда" или "Спидо", в спортивном магазине. Он сядет. Он держит. Вы поймёте.

Аня молчала.

— И запишитесь ко мне через два месяца. — Ольга Юрьевна снова надела очки и взялась за ручку. — Померим давление. Может быть, уменьшим препараты. Кстати, — она подняла глаза, — препараты. Я вам сейчас выпишу. Будете пить утром. Не пропусайте.

— Хорошо, — сказала Аня.

Ольга Юрьевна писала минут пять. Справка. Рецепт. Направление на анализы. Она отдала всё это Ане через стол — стопка бумаг, и сверху лежала жёлтая справка с печатью, — и посмотрела ещё раз, уже почти с улыбкой:

— Черезова.

— Да?

— Молодец, что пришла.

Аня вышла из кабинета и постояла в коридоре с бумагами в руках.

Она никогда — никогда за двадцать лет — не слышала от врача слова «молодец». Врачи говорили ей «нужно похудеть», «вам необходимо снизить вес», «у вас риски», «вы понимаете, что при таком образе жизни»; врачи говорили ей всё, что говорят толстым людям, тем спокойным профессиональным тоном, которым говорят вещи важные и безнадёжные. А слово «молодец» — вот это простое, домашнее, детское «молодец» — Аня получила впервые. И оно, оказалось, работает. Оно, оказалось, весит. Оно, оказалось, немного расправляет плечи — само, изнутри, без её ведома, — и Аня, идя по поликлиническому коридору к выходу, поймала себя на том, что идёт чуть прямее, чем вошла.

Купальник она купила в тот же день — в «Декатлоне» на Речном.

Это было отдельное приключение. Аня зашла в отдел плавания и встала перед стойкой с купальниками, как перед высокой водой. Купальники висели рядами — чёрные, синие, полосатые, с яркими узорами. Размеры на бирках: XS, S, M, L, XL, XXL. Аня подошла ближе. На XXL значился обхват груди «до 104 см». Аня знала свой обхват: сто восемнадцать. Она перебрала бирки на всех чёрных — нигде больше XXL не было.

Она постояла минуту. Потом подошла к консультанту — молодой парень, лет двадцати трёх, с бейджем «Игорь», — и сказала негромко:

— Простите, а у вас есть слитные купальники больших размеров? На объём груди сто восемнадцать?

Игорь посмотрел на неё абсолютно нейтрально. Не с жалостью, не с оценкой, не с безразличием. Профессионально, как посмотрел бы на клиента, который спрашивает про палатку на восемь человек: «А, вам вот сюда, у нас есть до ста тридцати, идёте».

— У нас есть до ста тридцати, — сказал Игорь. — Идёте.

Он повёл её в дальний угол отдела, к другой стойке — той, что Аня в первый раз не заметила; там висели купальники до размера XXXXL, чёрные, тёмно-синие, серые, все спортивные, все слитные, все — Аня видела — прочные, толстые, надёжные. Игорь снял три штуки её размера — чёрный, тёмно-синий и графитовый с тонкой полоской, — и сказал:

— Примерочная там. Если жмёт — я сниму пошире. Не стесняйтесь, зовите.

Аня взяла все три и пошла в примерочную.

Она заперлась. Долго стояла, глядя на собственное отражение — в толстом дверном зеркале, при ярком «декадлоновском» свете, — и собиралась с духом. Потом разделась.

Купальник надевался долго. Аня натягивала его через голову — как учили в детстве, «сначала руки, потом голову», — и материал скрипел по коже, тянулся, обхватывал, ложился. Она подтянула лямки. Расправила спину. Посмотрела в зеркало.

Из зеркала на неё смотрела женщина в чёрном купальнике.

Женщина была большая. Живот был. Складки были. Бёдра были. Всё было — всё то, что Аня двадцать лет прятала под кофтой «Уралмаш», под растянутыми штанами, под свободными платьями «в пол», — всё это сейчас было упаковано в чёрный эластичный материал и не убиралось, не пряталось, не исчезало. Оно было. И — Аня посмотрела внимательнее — оно, оказывается, имело форму.

Не «форму», как в глянце. Не ту, к которой призывают. Но — форму. Собственную. У неё была талия — узкая, потому что грудь была шире, — и была тяжёлая плавная линия бедра, и была спина с двумя мягкими складками у поясницы. Купальник — чёрный, глухой, простой, — не улучшил её. Купальник её проявил. Он сказал ей: вот ты. Не спрятанная. Не оправданная. Просто — ты. Смотри.

Аня смотрела долго.

Потом надела остальные два — для формальности, они сели одинаково, — и снова первый чёрный. Он был лучше всех. Она вышла из примерочной, кивнула Игорю: «Возьму этот». Игорь профессионально кивнул в ответ: «Отличный выбор». Ещё она купила: одну шапочку (тоже чёрную; шапочки её размера были — простые, силиконовые), одни очки (за четыреста рублей, «начальный уровень», как объяснил Игорь), одну сумку для мокрых вещей и одну пачку берушей (потому что вспомнила, что от воды у неё в детстве болели уши). Всё это ей упаковали в фирменный синий пакет. Аня заплатила три тысячи двести. Три тысячи двести — это была почти вся её недельная стипендия плюс те полторы тысячи, что она заработала на репетиторстве.

Она вышла из магазина с синим пакетом и пошла к метро.

На следующий день, в четверг, в семь ноль пять утра, Аня стояла у двери бассейна «Дельфин».

Дверь была ещё заперта. Аня пришла на десять минут раньше, потому что не могла спать; всю ночь то засыпала, то просыпалась, и просыпаясь думала о хлорке, и о лестнице в бассейн, и о том, что придётся идти из раздевалки к бортику через весь зал, и что все будут смотреть. Она встала в шесть тридцать, оделась под курткой в спортивные штаны и футболку — специально, чтобы не переодеваться в раздевалке долго, — и пришла к «Дельфину» до открытия. Постояла на крыльце. Дышала.

Ровно в семь дверь открыла тётя Люба — вахтёрша бассейна, круглая женщина в халате, с ключами на цепочке. Тётя Люба посмотрела на Аню, зевнула, взяла у неё абонемент (Аня

оформила его вчера же, в 214-м кабинете, за две тысячи в месяц), сверила фотографию с оригиналом, кивнула:

— Проходи. Женская раздевалка направо. В душ обязательно, без душа не пускаю.

— Хорошо, — сказала Аня.

Раздевалка была пустая. Аня выбрала кабинку в самом углу — крайнюю, — и заперлась. Разделась. Сложила одежду. Достала купальник. Надела — уже второй раз в жизни, — и теперь он надевался легче, привычнее, будто тело уже вспомнило. Натянула шапочку. Посмотрелась в маленькое зеркало на дверце. Смешно. Странно. Взросло. Она открыла кабинку и пошла в душ.

В душе — тоже пусто. Аня встала под тёплую воду, помылась мылом (шампунь тётя Люба велела приносить с собой, Аня забыла), потом ополоснулась, потом ещё постояла — просто чтобы оттянуть момент выхода. Потом взяла себя в руки и вышла.

Дверь из душа вела прямо в чашу бассейна.

Аня открыла её — и на неё пахнуло тем самым, единственным в мире, ни с чем не сравнимым запахом: хлорка, вода, кафель, старая плитка. Свет в зале был бело-голубой, отражённый от воды. Потолок — высокий, гулкий; на нём — светильники в металлических сетках. Шесть дорожек, разделённых красно-белыми поплавами. Тишина — только далёкое капание воды где-то из технического угла и приглушённый гул вентиляции.

В воде уже плавали двое. Мужчина в синей шапке — ровным брассом, дорожка четыре. Женщина — в жёлтой, — плыла кролем, быстро, ровно, дорожка два. Оба в своём мире, никто на Аню не посмотрел.

Аня закрыла дверь душа за спиной. И пошла.

Пошла — босиком по мокрому кафелю, — через весь зал, к дальнему бортику. Идти было далеко. Она чувствовала каждую секунду. Чувствовала, как её живот, её бёдра, её плечи движутся под чёрным купальником; чувствовала капли воды, ещё стекающие с волос под шапочкой; чувствовала, как влажно шлёпают её ступни по кафелю. Она смотрела прямо перед собой — на дорожку, на воду, — и не смотрела ни на мужчину в синей шапке, ни на женщину в жёлтой; вспомнила ту бегунью из Дружбы: «слушайте только своё дыхание».

Дыхание было плохое. Слишком быстрое.

Она дошла до бортика. Остановилась. Дорожка первая — крайняя, у стены, — была пустая. Аня надела очки — резинка щёлкнула по шапочке, — подтянула их, чтобы не текло. Посмотрела вниз. Вода была прозрачная, светло-бирюзовая, гладкая. Далеко внизу — на глубине, наверное, метра полтора — виднелись голубые кафельные плитки дна с чёрной разметочной полосой.

Аня села на бортик. Опустила ноги в воду.

Вода была холодная. Не ледяная — терпимая, но живая, — она обхватила её щиколотки, прошла по коже, поднялась выше икр. Аня закрыла глаза.

Ну ладно, — подумала она. — Ну давай.

И соскользнула в воду.

Вода приняла её мягко.

Аня всегда думала, что не умеет плавать. Это была та мысль, которая укоренилась в детстве после одного случая — ей было девять, отец повёл её на пруд в деревне, где жила бабушка Тамара, попытался научить, — Аня захлебнулась, испугалась, вылезла на берег и с тех пор в воду больше глубже колен не заходила. С тех пор Аня твёрдо знала: я не умею плавать. Знала так же, как знала про свой вес и про свой размер ноги. Это был факт.

И вот сейчас, стоя по плечи в воде — крайняя дорожка, чёрный купальник, чёрная шапочка, — Аня вдруг вспомнила, что дедушка её, дедушка Егор, отец матери, — что дедушка Егор до армии работал в Одессе, на порту, и плавал в море каждый день, и однажды спас тонущего мальчика, и мать рассказывала это как семейную легенду; вспомнила, что бабушка

Тамара, живя в деревне на реке, каждое лето до семидесяти лет купалась и говорила про воду «моя стихия»; вспомнила, что Лёша, старший брат, в детстве занимался плаванием — недолго, полтора года, — и потом всю жизнь плавал легко, как рыба. Что она — Аня Черезова — из семьи, где вода была своя, где вода была бабушкина и дедушкина, — и что её страх, её девятилетний ужас на пруду, — это только её собственный страх, никем не унаследованный, никем не подтверждённый; страх, который она сама себе вырастила, как комнатный цветок.

Аня взялась за поручень у бортика. Оттолкнулась. Легла на воду — сначала на спину, — и вода её приняла. Держала. Не пропускала вниз.

Аня заплакала.

Она не заметила, как это началось; заметила уже когда очки внутри запотели, — это, впрочем, могло быть от воды, но нет, вода снаружи, а очки запотевают изнутри, значит — слёзы. Аня лежала на спине, раскинув руки, и плакала беззвучно, глядя в потолок бассейна с металлическими светильниками в сетках, — и слёзы текли по вискам под шапочку, — и она чувствовала, как вода её держит, как большая тёплая ладонь, — и думала: ну как же так. Ну как же так, что я двадцать лет думала, что не умею. Ну как же так.

Потом она перевернулась на живот. Взялась за поручень. Оттолкнулась.

Первые двадцать пять метров она проплыла — если это можно было назвать плаванием, — за три с половиной минуты, брассом, как умела с той единственной попытки в девять лет; голову держала над водой всё время, потому что боялась опустить её, потому что помнила, как захлёбывалась. Ноги работали неправильно — она это чувствовала, — руки тоже; всё было неуклюжее, неэкономное, судорожное. К бортику она подплыла задыхаясь; уцепилась за него обеими руками и висела, глотая воздух, минуту. Может, две. Может, три. Сердце колотилось где-то около ключиц.

Но она была — на той стороне.

Двадцать пять метров. Двадцать пять метров, которые она проплыла — сама. Без папы, без бортика, без шпаргалки. Одна.

Она отдышалась. Развернулась. И пошла обратно.

Обратно — тоже двадцать пять метров, — она проплыла за четыре минуты. Обратно было тяжелее, потому что не было злости и куража, а был только усталый, тяжёлый, кислородный голод во всём теле. Ноги гудели. Руки не хотели грести. Она захлебнулась один раз — совсем чуть-чуть, — вода попала в нос, она закашлялась, встала (в этой части бассейна было по грудь), проглотила, и поплыла дальше. Доплыла. Ухватила за бортик. И тут — уже без слёз, но и без ликования, — просто повисла на нём, как повисают на верёвке усталые пловцы, которые доплыли, и всё.

— Первый раз?

Аня подняла голову.

У бортика стояла женщина. Молодая — лет двадцати восьми, тридцати; в чёрном купальнике, в жёлтой шапочке (та самая, что плавала кролем), с сильными плечами, с загорелым — по-мартовски бледно-загорелым — лицом. Держала в руках доску для плавания, красную. Смотрела на Аню без насмешки, без жалости — только с тем спокойным профессиональным любопытством, с каким смотрят на чужой процесс люди, которые хорошо знают этот процесс изнутри.

— Первый, — сказала Аня. — Первый настоящий.

— Ирина, — сказала женщина. — Я тренер. Я тут в среду и в пятницу с семи до девяти, и по субботам с восьми. Если хочешь — приходи на групповые, у меня оздоровительная группа для взрослых. Начинающие. Возьму.

Аня смотрела на неё. На это спокойное, простое лицо, на эту доску, на эту жёлтую шапочку.

— А сколько стоит? — спросила она.

— Полторы в месяц. Три раза в неделю. — Ирина пожала плечом. — Приходи в пятницу, посмотришь. Понравится — оформишь. Не понравится — не оформишь. Никто тебя не тянет.

Она кивнула Ане, повернулась и уплыла по своей дорожке — легко, ровно, красивым кролем.

Аня смотрела ей вслед. Потом снова опустила лицо в воду. Тихо. Просто чтобы почувствовать — вода. Держит.

Она проплыла в тот день ещё три раза по двадцать пять метров. Всего — сто. Из бассейна она вылезла в восемь двадцать, вернулась в раздевалку, помылась, оделась. Ноги дрожали. Руки дрожали. Лицо горело. Волосы под шапочкой были мокрые насквозь; она их отжала, замотала полотенцем, натянула шапку.

Тётя Люба, провожая её к выходу, посмотрела и сказала:

— Ну как, доча?

— Хорошо, — сказала Аня. — Спасибо.

— А то некоторые в первый раз плачут.

— И я плакала, — сказала Аня. — Только в воде — не видно.

Тётя Люба улыбнулась.

— Приходи ещё, — сказала она.

Аня пришла в пятницу.

Пришла — и попала на первую тренировку Ирины. Группа была маленькая — семь человек, все взрослые, все начинающие; Аня была не единственной толстой (одна женщина, лет пятидесяти, была ещё тяжелее её, и Аня, увидев её, испытала мгновенное, стыдное, но настоящее облегчение — «я не самая»), и не единственной неумехой (мужчина лет сорока, худой, длинный, боялся воды панически — держался за поручень так, что костяшки белели). Ирина работала со всеми. С каждым — своё; каждому — своё слово. Ане она сказала:

— Ты плавать умеешь. Ты просто не веришь. Мы с тобой сегодня будем плыть с доской. Ноги. Только ноги. Ясно?

— Ясно.

С доской было проще. Доска держала. Аня толкала её перед собой, работала ногами — сначала как попало, потом Ирина показала: «Не сгибай в коленях, работай от бедра», — и вдруг стало легче. Не сильно, но легче. Она проплыла с доской свои двадцать пять — и не задыхнулась. Проплыла ещё двадцать пять. И ещё. К концу тренировки, за час, она наработала двести метров. Двести. Восемь длин.

Ирина, когда все вылезли из воды, коротко сказала:

— В следующий раз попробуем без доски. Кроль. Дыхание — учим.

— Хорошо, — сказала Аня.

Она сходила в душ — на этот раз в общий, потому что раздевалка была уже полна дневных студентов, — и вымыла голову шампунем (принесла с собой). Пока стояла под водой, женщина, та самая, пятидесятилетняя, крупная, подошла к соседнему душу и — тоже смывая шампунь — сказала, не глядя:

— Первый раз?

— Второй.

— А я третий год хожу.

Аня повернула голову.

Женщина стояла под своим душем — вся в мыльной пене, лицо круглое, добродушное, с крупным носом, — и говорила деловито, как соседка у подъезда:

— Начинала — сто тридцать восемь весила. Сейчас сто десять. Плавала так же, как ты сегодня — с одышкой и с молитвой. Меня Галей звать.

— Аня.

— Приятно, Ань. Ты не сдавайся. Тут главное — ходить. Не думать, ходить или нет. Просто ходить.

— Спасибо, — сказала Аня.

Галя выключила воду, замоталась в полотенце и ушла в раздевалку. Аня осталась одна под своим душем и постояла ещё минуту. Просто под тёплой водой. Просто дыша.

Просто ходить, — думала она. — Просто ходить.

Днём, в столовой, произошло другое.

Аня, вспомнив разговор с Ольгой Юрьевой, стояла у раздачи и выбирала. Она выбирала — впервые в жизни осознанно. Не «что вкуснее», не «что дешевле», не «что даст двадцать минут тишины», — а: «что помогает». Она попросила у тётки Нины куриную грудку (была) без соуса. Гречку. Огурец из зимней банки. Без хлеба. Компот — на этот раз да, потому что после бассейна хотелось пить.

Тётя Нина, накладывая грудку, посмотрела на неё и сказала:

— Ань, ты чего?

— В смысле?

— Ты уже неделю котлеты не берёшь. Заболела?

— Нет, тёть Нин. Я плаваю.

— Плаваешь?

— В бассейне. Второй раз сегодня была.

Тётя Нина замерла с ложкой над кастрюлей.

— Слушай, — сказала она, — а покажи мне через месяц.

— Что показать?

— Ну себя. Не буду говорить, чтобы не сглазить. Просто покажи. Ладно?

— Ладно, — сказала Аня.

Она понесла поднос к столу. Гречка, курица, огурец, компот. Всё это выглядело до странного мало. Аня села, взяла вилку и попробовала есть.

Она поймала себя на том, что ест медленно. Не потому что специально — а потому что не хотелось быстро. Не хотелось глотать. Хотелось — распробовать. Курица, оказалось, вкусная; тётя Нина её отварила с луком, и луковый вкус был отчётливый и лёгкий. Гречка — солёная, рассыпчатая. Огурец хрустел так громко, что Аня удивилась: она никогда не слышала, как она сама хрустит огурцом. И компот — компот пах абрикосами; настоящими, летними, тёплыми. Она ела двадцать минут. Всё съела до последней крошки, до последней капли компота.

И — впервые за много лет — встала из-за стола не с тем тяжёлым, оседающим внутрь ощущением «переел», а с другим: достаточно.

Достаточно. Слово выскочило в голове совершенно чётко, будто на бумажке. Достаточно. Не мало и не много. Ровно столько, сколько нужно. Она положила поднос на мойку. Тётя Нина издали помахала ей рукой.

Вечером Аня, сидя на кровати, достала блокнот и написала на первой странице:

14 марта — начало.

22 марта — купила купальник, справка.

23 марта — 1-й раз в бассейне, 100 м.

24 марта — 2-й раз, 200 м с доской. Тренер Ирина, группа.

Она подумала. Потом добавила:

Не смотреть на бегунов. Не смотреть на пловцов. Слушать только своё дыхание.

Ниже, отступив строчку:

Достаточно.

Она закрыла блокнот и убрала его в тумбочку — на самое дно, под старую тетрадь по литературе, где Кристина точно не полезет. Кристина в блокноты чужие не лазала, конечно; но всё-таки надёжнее.

Кристина, сидя на своей кровати, красила ногти. Запах ацетона стоял тяжёлый.

— Черезова, — сказала Кристина, не отрываясь от мизинца, — а куда ты в семь утра уходишь, я не пойму.

Аня посмотрела на неё.

— В бассейн, — сказала она.

Кристина подняла глаза. Посмотрела. Полсекунды в её взгляде было — то же самое, что позавчера, беспокойство. Полсекунды. Потом она моргнула, вернулась к ногтю и сказала небрежно:

— Развлекайся. Только не утони.

— Не утону, — сказала Аня.

И это была правда. Утонуть она больше не боялась. Ни в бассейне «Дельфин», ни где-либо ещё. Ей теперь было — куда всплывать.

За окном моросил дождь. На часах — двадцать один сорок семь. Ноги у Ани гудели после тренировки; пятки в местах старых мозолей побаливали, а плечи — новые, — плечи ныли той особой, тёплой, живой ноющей болью, какой ноют мышцы, которые впервые за двадцать лет что-то сделали и обнаружили, что могут. Аня легла на кровать, натянула одеяло, закрыла глаза.

И подумала о своей руке. Той, которой она перехватит через триста семьдесят четыре дня руку с пистолетом.

Рука пока была слабая.

Но — уже не совсем та.

Глава 5. Инна Валерьевна

Апрель пришёл в Москву без предупреждения, как приходит гость, которого не ждали, но которому рады.

В одну ночь — в ночь на первое, — с крыш капало так, что Аня, лежавшая в темноте и слушающая, подумала: это не апрель, это водопровод; и только к утру, увидев за окном тающие сосульки и первую свободную от снега лужу асфальта, поняла, что ошиблась. Первого апреля, в субботу, город вдруг стал пахнуть по-другому: не мокрой шерстью, не бензином, не солью, а чем-то живым — какой-то травинкой, каким-то намёком, каким-то ещё невидимым, но уже присутствующим будущим. Аня вышла на утреннюю ходьбу — теперь она ходила по три километра, три раза в неделю, в парк Дружбы, — и, дойдя до пруда, остановилась и постояла минут пять просто так. Смотрела на воду. Утка была на месте — та же, серая, деловая, — но теперь она плавала, а не переваливалась по льду; льда почти не осталось.

Апрель, — подумала Аня. — Уже.

Уже. Восемнадцать дней. Восемнадцать дней с того утра, когда она проснулась под жёлтым пятном и не могла шевелиться. Восемнадцать дней — казалось бы, ничего; а между тем в блокноте, спрятанном в тумбочке под тетрадь по литературе, уже было шесть записей:

14 марта — начало.

22 марта — купила купальник, справка.

23 марта — 1-й раз в бассейне, 100 м.

24 марта — 2-й раз, 200 м с доской. Тренер Ирина, группа.

28 марта — 350 м, из них 100 без доски.

31 марта — 500 м. Ирина сказала: "нормально".

Пятьсот метров. Двадцать длин. Аня плавала уже почти час без остановок. Плечи гудели постоянно — но тем ноющим, дружелюбным гулом, к которому она привыкла и который уже, кажется, была готова назвать своим. Ноги в парке шли легче. Дыхание — ровнее. Весы — Аня взвешивалась раз в неделю, по субботам, — весы упрямо стояли на ста двадцати одном; но Аня уже, кажется, начинала понимать, что тело меняется не по цифрам, а по ощущениям, а ощущения были — да. Штаны у бедра сидели чуть свободнее. Кофта «Уралмаш» уже не так плотно ложилась на плечи. По утрам, вставая с кровати, она вставала одним движением — раньше это было приседание в два приёма.

Мелочи. Всё — мелочи. Но каждая мелочь была шагом.

Первого апреля, в шесть вечера, Аня сидела в общаге и готовилась к семинару.

Семинар был у Инны Валерьевны — эстетика, тема «Прекрасное и возвышенное. Иммануил Кант, "Критика способности суждения", вторая часть». Аня открыла Канта — не электронный, а бумажный, потрёпанный, взятый в университетской библиотеке; она любила бумажные книги за то, что в них можно надписывать поля, и она надписывала, тонким карандашом, аккуратными пометками. Книжку кто-то читал до неё — на полях остались чужие подчёркивания синей ручкой; Аня не любила, когда в чужих книгах подчёркивают ручкой, но с этим ничего нельзя было поделать.

Она читала уже второй час.

Кант шёл тяжело. Кант всегда шёл тяжело, но обычно Аня читала его по диагонали, вылавливая цитаты, — сейчас же она читала внимательно, потому что после позапрошлой пары, после того «прежде чем рассуждать о прекрасном, начните с себя», — после этого что-то в ней замкнулось, и она поняла: если она хочет разговаривать с Инной Валерьевной на её языке, надо этот язык знать. Знать так, чтобы Инна Валерьевна не могла сделать вид, что не поняла. Знать до того уровня, до которого сама Инна Валерьевна себя не всегда доводит на лекциях; знать не по хрестоматии, а по тексту.

Возвышенное, писал Кант, отличается от прекрасного тем, что прекрасное имеет форму, а возвышенное — бесформенно. Прекрасное успокаивает — возвышенное потрясает. Прекрасное — это цветок; возвышенное — это буря. Прекрасное можно вписать в рамку — возвышенное разрывает рамку. Прекрасное нравится — возвышенное подавляет и одновременно возвышает. Возвышенное, писал Кант, есть то, что превосходит все меры чувственности; и человек, стоя перед возвышенным, — стоя перед звёздным небом, перед океаном, перед горой, — ощущает сначала свою малость, а потом, вдруг, — свою беспредельность; потому что в нём есть разум, а разум может помыслить всё, даже то, что превосходит всё.

Аня читала. Читала — и вдруг, на середине третьего часа, отложила карандаш и посмотрела в потолок.

Я — это возвышенное, — подумала она.

Мысль была такая нелепая, такая по-детски громкая, что Аня сама себе усмехнулась. Но мысль не уходила. Она сидела в голове ровно, аккуратно, и не собиралась. Я — Аня Черезова, сто двадцать один килограмм, третий курс, комната триста семнадцать, — я не имею формы. Я бесформенна. Меня нельзя вписать в рамку. Я — не цветок. Я — гора. Или буря. Или океан. Аня попробовала произнести это вслух — тихо, себе, — и от собственного голоса стало неловко.

Но неловко — не значит неправда.

Она открыла тетрадь. Написала в самом верху: «Прекрасное и возвышенное». И под этим — свои тезисы. Не заготовки для ответа, а — свои мысли; она давно не писала своих мыслей, обычно писала конспекты. Она написала: Кант противопоставляет прекрасное и возвышенное как разное отношение к форме. Прекрасное — то, что укладывается в границы восприятия. Возвышенное — то, что превосходит их. Но: превосходство ощущается как поражение — сначала. И только через поражение — как сила. Возвышенное не нравится в смысле «приятно»; возвышенное — переворачивает. И это, у Канта, тоже категория эстетики. То есть эстетика — это не только про красивое. Это про то, что делает с нами воспринимаемое.

Она перечитала.

И вспомнила Инну Валерьевну — не ту, что стояла перед аудиторией, а ту, что она заметила случайно, недели полторы назад, в кафе на Марксистской.

Аня зашла тогда за сэндвичем — она стала брать сэндвичи и салаты между парами, вместо столовки, потому что в столовке ей всё ещё было тяжело, — и, проходя мимо витринного окна, увидела за столиком Инну Валерьевну. Не одну. С девочкой лет пятнадцати. Тёмные волосы, забранные в неаккуратный хвост, худое, слишком худое лицо; острые ключицы, торчавшие из-под ворота свитера. Дочка. Аня замерла на секунду — не подслушивать, просто у неё замок в голове что-то щёлкнуло, — и посмотрела через стекло.

Инна Валерьевна не была той Инной Валерьевной. Не той, что на кафедре, — идеальной, отчуждённой, недостижимой. Она сидела чуть сгорбившись, локти на столе, лицо было напряжённое, серое. Перед девочкой стояла тарелка с салатом. Девочка ковыряла его вилкой — брала листик, подносила ко рту, откладывала, брала следующий. Инна Валерьевна что-то говорила — Аня не слышала, но по губам угадывалось: «съешь. Ну съешь. Ну хотя бы этот кусочек». Девочка отвернулась. Смотрела в окно — прямо на Аню, — но не видела; её глаза смотрели сквозь Аню, сквозь стекло, сквозь Москву, — куда-то в такое место, где нет ни матерей, ни салатов, ни рёбер, торчащих из-под свитера. Аня отвернулась быстро, чтобы не встретиться взглядом. Пошла дальше по улице.

С тех пор она об этом старалась не думать. Не потому что тема была для неё запретная. А потому что — было неловко. Знать про Инну Валерьевну то, что Инна Валерьевна не собиралась рассказывать. Ходить с этим знанием на её пары. Смотреть на её замшевые ботинки и знать, что вечером, дома, эта женщина сидит напротив собственной дочери и умоляет её съесть листик салата.

Сейчас, отложив Канта и глядя в потолок общаги, Аня вдруг подумала — впервые внятно, — что Инна Валерьевна, может быть, — тоже возвышенное. То, что превосходит меру. Женщина, у которой всё внутри, кажется, разорвано в клочья, — но снаружи форма собрана до последнего волоса, до последней складки на кашемировом жакете. Аня не жалела её — жалость сюда не подходила. Она понимала. И понимание не отменяло того, что Инна Валерьевна обидела её. Оно только объясняло: обидели её не потому что Аня хуже; обидели, потому что Аня напонила.

Ладно, — подумала Аня. — В понедельник посмотрим.

Она сложила тетрадь, убрала карандаш и пошла кипятить чай.

В понедельник, третьего апреля, семинар был в двенадцать сорок.

Аня пришла заранее. Села — как всегда — в последнем ряду, у стены. Достала тетрадь, Канта, ручку. Однорупники подтягивались медленно. Кто-то из них — Настя Полякова, длинная девушка с журфака-переводного, — заметила Анину книгу, наклонилась через два ряда и спросила:

— Ты Канта что, наизусть?

— Не наизусть. Просто читала.

— Черезова, — сказала Настя, — ты в последнее время какая-то... — она подумала, — не такая. Всё нормально?

— Нормально, — сказала Аня. — Я просто читала.

Настя пожала плечами, отвернулась. Аня почувствовала, как в лопатках у неё что-то шевельнулось — не гордость, а что-то ей ещё непонятное; ощущение, что её замечают. Не плохо. Просто замечают.

Инна Валерьевна вошла в аудиторию в двенадцать сорок ровно.

Она была в тот день в другой одежде — не в сером кашемире, а в тёмно-синем, почти чёрном платье, — и Аня, посмотрев на неё, сразу отметила: платье просторнее, чем её обычные вещи. И глаза чуть красноватые — как у человека, который плохо спал. И укладка чуть менее идеальная — прядка выбилась на висок. Мелочи. Аня научилась замечать мелочи.

— Итак, — сказала Инна Валерьевна. Она положила на кафедру папку с записями, свои очки на цепочке, открыла книгу. — Сегодня мы продолжаем Канта. Возвышенное. Кто прочитал?

Молчание, как обычно.

— Кто прочитал полностью?

Тишина. Аня подняла руку.

Инна Валерьевна посмотрела на неё. Секунду. Другую. Что-то в её лице чуть дрогнуло — не удивление, не раздражение, а какое-то более сложное, короткое, — Аня не успела разобрать.

— Черезова. Расскажите.

Аня встала.

Она встала, и это было — новое; она никогда не вставала при ответе, всегда сидела, тихо, скукожившись, — а сейчас встала, потому что вдруг захотелось. Может быть, потому что надо было дышать полной грудью, чтобы говорить. Может, потому что за две недели плавания и ходьбы стало проще — вставать. Она встала. Кристина, сидевшая в третьем ряду, обернулась и посмотрела на неё удивлённо. Все обернулись.

— Кант, — сказала Аня, — противопоставляет прекрасное и возвышенное как два разных типа эстетического переживания. Прекрасное связано с формой, возвышенное — с её отсутствием. Прекрасное укладывается в границы восприятия; возвышенное их превышает. Прекрасное успокаивает — возвышенное потрясает.

Она говорила ровно. Не спеша. Без «э-э», «ну», «типа». Слышала свой голос — и удивлялась, что он звучит так уверенно; будто это не она, а какая-то другая Аня, взрослая, стоит и говорит.

— Но самое интересное, — продолжила она, — не сам этот тезис, а то, что Кант делает с возвышенным. Возвышенное сначала — подавляет. Человек ощущает свою малость перед бурей, перед звёздным небом, перед горой. Это, по Канту, эстетическое поражение. И вот из этого поражения, — Аня посмотрела на аудиторию, — из этого именно поражения рождается противоположное: ощущение собственной силы. Потому что человек, будучи мал физически, велик разумом. Разум может помыслить бесконечное. И, помыслив бесконечное, человек — возвышается.

Тишина в аудитории была совсем другого сорта, чем в прошлый раз. Тогда — стадная, замершая. Сейчас — внимательная. Кто-то писал за ней. Костя Синицын у окна перестал рисовать.

— Что из этого следует, — сказала Аня, — на мой взгляд. То, что эстетика по Канту — это не только про приятное. Это про то, что переворачивает. Возвышенное не нравится в смысле «доставляет удовольствие». Возвышенное — сначала ранит. Потом освобождает. Это, наверное, — она чуть замедлилась, потому что подошла к тому, что придумала сама, и хотела сказать это точно, — это, наверное, ключ к тому, почему великие произведения искусства часто не «нравятся» с первого раза. Они не для того, чтобы нравиться. Они для того, чтобы сдвинуть.

Она замолчала.

Инна Валерьевна смотрела на неё.

Она стояла у кафедры, держала очки в руке, и во взгляде у неё было — Аня поняла это в одну секунду, отчётливо, — во взгляде было удивление. Настоящее. Не наигранное, не педагогическое. Инна Валерьевна не ждала. Инна Валерьевна не готовила крючка. Она смотрела на Аню — на Черезову, толстую Черезову из последнего ряда, которую она две недели назад публично унизила, — и видела не жертву. Видела — оппонента. Или, может, ученика. Или — кого-то, кого она не научилась ещё называть.

Пауза длилась дольше, чем обычно.

— Садитесь, Черезова, — сказала Инна Валерьевна наконец. Голос был ровный. — Пять. Аня села.

По аудитории прошло — не гул, а что-то тоньше, шелест. Костя Синицын у окна тихо сказал соседу что-то, чего Аня не расслышала. Настя Полякова, обернувшись, посмотрела на Аню — уже не с тем «ты какая-то не такая», а с новым: «ого». Кристина не обернулась. Кристина сидела прямо и очень напряжённо; Аня, глядя ей в спину, видела, как плечи у Кристины натянулись, как струна.

Пара продолжилась.

Инна Валерьевна продолжила разбор Канта — уже без Ани, вызывая других, — и в её голосе появилось что-то, чего раньше не было. Не мягкость — не будем преувеличивать. Но какая-то дополнительная точность. Как будто она заметила, что в аудитории есть кто-то, кто слышит по-настоящему, — и стала говорить чуть иначе, чуть более честно. Один раз, отвечая на вопрос Кости про Бёрка (Костя вдруг решил проявиться), она посмотрела на Аню — коротко, вопросительно, — и Аня чуть кивнула. Инна Валерьевна перевела взгляд обратно на Костю и договорила. Аня записала.

После пары, собирая вещи, Аня почувствовала, что у неё дрожат колени. Не от страха — задним числом. От напряжения. Она отвечала минут семь, может, восемь, — и всё это время стояла и держала на себе взгляд Инны Валерьевны, — и это, оказалось, отбирает силы больше, чем километр в бассейне.

Она вышла из аудитории — последняя, потому что медленно собирала. В коридоре её ждала Настя Полякова.

— Черезова, — сказала Настя, — ты чего это, а?

— В смысле?

— В смысле, ты что, готовилась?

— Готовилась.

— К Штольц?

— К Канту.

Настя засмеялась.

— Класс, — сказала она. — Слушай, а у тебя нет твоего конспекта? Я к зачёту буду готовиться, а сама Штольц не воспринимаю. Дашь переписать?

Аня подумала.

— Дам, — сказала она. — Только не переписывай слепо. Прочитай текст сама. Иначе Инна Валерьевна на зачёте сразу поймёт.

— Ладно, — сказала Настя. — Спасибо.

Она махнула и убежала. Аня стояла в коридоре одна. И вдруг заметила, что улыбается — тихо, изнутри, — и что улыбается уже минут пять, сама того не замечая.

Она шла по коридору к выходу — думала пойти в столовую, потом в бассейн, потом домой, — когда увидела Инну Валерьевну.

Инна Валерьевна стояла у окна в коридоре второго этажа. Одна. С папкой в руках. Смотрела в окно — на улицу, на весенний, ещё серый, но уже отчётливо весенний двор. Не то чтобы задумчиво — она была вообще не из тех людей, которые «задумчиво стоят у окна». Просто стояла. И курила бы, наверное, если бы курила.

Аня прошла бы мимо. Прошла бы — но в этот момент Инна Валерьевна обернулась.

Их взгляды встретились.

Две секунды.

Инна Валерьевна не отвернулась. Аня тоже. Они смотрели друг на друга — через десять метров пустого коридора, — и Аня поняла ещё одну вещь: она узнала меня. Не «студентка Черезова». Не «толстая девочка из последнего ряда». Не «объект педагогического воздействия». А — узнала, как узнают человека, с которым только что говорили на равных, пусть и не глядя друг другу в глаза. Инна Валерьевна знала теперь, что Аня — есть. И Аня знала, что Инна Валерьевна это знает.

Аня коротко кивнула. Инна Валерьевна коротко кивнула в ответ.

И всё.

Аня прошла мимо. Спустилась по лестнице. Вышла на улицу. Апрельский воздух ударил в лицо — чуть сырой, чуть тёплый, с далёким запахом чего-то живого. Аня остановилась на крыльце.

Не думай, — сказала она себе. — Не преувеличивай. Ничего не изменилось. Один семинар. Один нормально сказанный ответ. Она тебя завтра снова разотрёт.

Может быть, разотрёт. Может быть. Но сегодня — сегодня было это. И вот эта короткая история, эти семь минут — с Кантом, со вставанием, с «садитесь, Черезова, пять», с кивком в коридоре, — этой истории уже никто не отменит. Она была. Она случилась. Она — Анина.

Аня спустилась с крыльца.

Вечером Кристина вернулась в общагу в паршивом настроении.

Аня сразу это увидела — по тому, как Кристина вошла (толкнув дверь плечом), по тому, как швырнула сумку на кровать (сумка отлетела и грохнулась на пол), по тому, как молча сняла куртку и — не сняла, а сдёрнула. Аня сидела за столом, разбирала конспекты по Востоку. Не подняла глаз. Знала, что если поднять — Кристина найдёт повод.

Кристина всё-таки нашла.

— Черезова, — сказала она, — а ты сегодня чего это разошлась.

— В каком смысле?

— В том смысле. У Штольц. Отличница нашла, блин.

Аня подняла голову. Кристина стояла посреди комнаты — в одних колготках, в футболке, растрёпанная, с потёкшей чуть-чуть тушью под левым глазом; глаза злые, но злоба была не на Аню, а на что-то другое, а на Аню — просто под руку.

— Крис. Ты что, поругалась с кем-то?

— Не твоё дело. Ты мне ответь. Ты чего это, а?

— В смысле — ответила по теме. Я готовилась.

— Ага. Готовилась. Черезова, ну ты серьёзно? — Кристина села на свою кровать, скрестила ноги. — Ты правда думаешь, что она тебе теперь пятёрки будет ставить?

Аня посмотрела на неё внимательно.

— Крис, — сказала она, — я не для пятёрок готовилась.

— А для чего?

— Для себя.

Кристина фыркнула — но фыркание получилось коротким, невыразительным; она сама поняла, что оно не звучит. Отвернувшись, стала копаться в сумке. Аня смотрела на её спину — узкую, красивую, с торчащими сквозь футболку лопатками, — и понимала: Кристине плохо. Плохо не от Ани. От чего-то другого — свидания, преподавателя, оценки, отражения в чужих глазах, — от чего-то, о чём Кристина никогда не расскажет, потому что не умеет рассказывать о своём плохо; Кристина умеет только сбрасывать плохо на других, — и другой у Кристины сейчас была Аня.

Аня подумала: раньше я бы обиделась. Раньше я бы полдня варилась в этом «а чего это ты, а я тебе», и накрутила бы себя, и полезла бы к Кристине с претензиями, и мы бы поругались, и потом мирились бы, и всё было бы как всегда. Сейчас — не хочется.

Она встала. Подошла. Села рядом с Кристиной на кровать.

— Крис, — сказала она. — У тебя всё нормально?

Кристина замерла. На секунду.

— Отстань, — сказала она глухо, не оборачиваясь.

— Крис.

— Отстань, Черезова!

Она отдернула плечо, встала, ушла в ванную. Хлопнула дверью. Через минуту оттуда послышался звук воды.

Аня осталась сидеть на её кровати. Смотрела на дверь ванной.

Ну ладно, — подумала она. — Не сейчас. Не сегодня. Но я тебя видела, Крис. Я тебя вижу.

Она вернулась к себе. Дописала конспект по Востоку. Потом достала блокнот из тумбочки — тот, что спрятан под тетрадью по литературе, — и открыла на последней записи.

Подумала. Написала:

3 апреля — семинар по эстетике. Штольц поставила пять. Кивнула в коридоре. Возможно, ничего не изменилось. Возможно, что-то изменилось.

Ниже, отступив:

Не готовиться ради пятёрки. Готовиться, потому что хочу понимать.

И совсем внизу, мельче:

Кристине плохо. Не забыть.

Она закрыла блокнот, убрала в тумбочку. Поставила чайник. Заварила чай — просто чай, без ничего. Открыла окно. В общажный двор пахнуло тем самым апрельским воздухом — сырым, тёплым, живым, — и где-то далеко, во дворе, зашумели пьяные пацаны, потом их окликнула девушка, потом опять затихло. Обычный вечер понедельника, третье апреля, апрель.

Аня стояла у окна с чашкой.

Триста шестьдесят три дня, — подумала она.

Автобус был далеко. Автобус был — в конце длинного коридора, в самом конце, — и Аня видела его отчётливо: и мужчину в бурой куртке, и старушку с огурцами, и себя, встающую. Но между ней и автобусом теперь были ещё вещи. Купальник в шкафу. Двадцать длин в бассейне. Ольга Юрьевна с её «молодец». Настя Полякова, которая просит конспект. Инна Валерьевна, которая кивнула. Кристина в ванной, которой плохо. Мать в Екатеринбурге, которая печёт что-то, ещё не зная, что дочь не съест. Отец, который сейчас, наверное, смотрит «Время». Димка, который делает уроки. Тётя Валя в вахтёрском стеклянном закутке — сегодня как раз её смена.

Между ней и автобусом были — люди. И дни. И дела.

И — что-то ещё, чему у Ани пока не было названия. Но что уже определённо было.

Она допила чай, закрыла окно, легла в кровать.

Кристина вышла из ванной через час — притихшая, с мокрыми волосами. Легла, не сказав ни слова. Аня не окликнула её. Просто лежала и слушала, как Кристина устраивается на подушке — долго, недовольно; потом Кристина затихла.

Аня закрыла глаза.

Возвышенное, — подумала она напоследок. — Возвышенное — это то, что сначала ранит. А потом освобождает.

Ну хорошо. Ну хорошо, Иммануил Кант.

Мы это ещё увидим.

Глава 6. Человек, который чинит мешки

Объявление висело на столбе у метро «Дмитровская».

Столб был обычный, металлический, серо-крашенный, с бесчисленными слоями старых объявлений, соскобленных до полупрозрачности, — «Куплю квартиру», «Установка кондиционеров», «Английский на дому недорого», — и поверх всей этой чешуи, приклеенное свежим скотчем, чуть съехавшее набок, висело оно:

СЕКЦИЯ БОКСА

Женская группа. Начальный уровень.

Тренер — Виктор Павлович Медведев, мастер спорта.

Понедельник, среда, пятница — 20:00.

Первое занятие — бесплатно.

Ул. Складочная, д. 6, полуподвал. Вход со двора.

Тел. 8-915-...-...-...

Аня прочитала объявление в четверг, тринадцатого апреля, в четверть шестого вечера.

Она возвращалась с пары — практикум по риторике, тот, что Аня раньше терпеть не могла и на который теперь ходила почти с удовольствием, потому что риторика оказалась про то, как говорить, а Аня как раз училась говорить, — она возвращалась к метро, чтобы ехать в бассейн, и мимо этого столба проходила уже двести раз. Двести раз проходила и не смотрела. А сегодня — посмотрела. И почему сегодня — она бы не смогла объяснить; может, потому что подул тёплый ветер и обрывок бумаги на столбе трепыхнулся, как маленький флаг, и глаз зацепился. Может, потому что она уже была готова. Ветер только помог.

Аня стояла перед столбом и читала. Один раз. Второй.

Понедельник, среда, пятница — 20:00.

Тренер — мастер спорта. Женская группа. Начальный уровень. Первое занятие — бесплатно. Полуподвал. Вход со двора.

Аня достала телефон, сфотографировала объявление — вдруг сорвут, — и убрала телефон в карман. Постояла ещё секунду. Потом пошла к метро.

По дороге к «Дельфину» в вагоне она думала: зачем. Зачем бокс. У неё уже есть бассейн — три раза в неделю, полчаса воды, полчаса восстановления; у неё есть ходьба в парке, три раза в неделю по три километра; у неё уже есть режим, у неё уже есть тело, которое устаёт и восстанавливается, — зачем ещё бокс. Разве нужен ей бокс. Разве она — та, кому нужен бокс.

Нужен, — сказала она себе.

Нужен, потому что бассейн — это выносливость. Ходьба — это сердце. А бокс — это руки. Через триста пятьдесят два дня тебе понадобятся руки.

Ей понадобятся руки, чтобы перехватить.

Понадобятся плечи, чтобы удержать.

Понадобится удар — короткий, точный, — если разговорами не получится.

Ей понадобится не форма. Ей понадобится умение делать больно.

Аня стояла у двери вагона (сиденья в метро всё ещё её не выдерживали, но она уже стояла легче) и смотрела в тёмное окно, за которым проносились темнота тоннеля, и думала это очень трезво, очень спокойно. Она никогда в жизни никому не делала больно физически. Даже в детстве, даже когда драки во дворе, даже когда Ленка Карпова сказала «Черезова, ты как шар, хи-хи», — Аня никого не била. Она была толстая, но кроткая — такое сочетание, которое взрослые называют «мягкой девочкой», а сверстники — «терпилой». Аня терпела всю жизнь. Ей и в голову не приходило, что можно не терпеть.

Сейчас — приходило.

Сейчас у неё было очень чёткое понимание: если тогда, в автобусе, у неё была бы хоть какая-то техника, — не сила, не героизм, а простая, натренированная механика, — она бы, может быть, справилась. Может быть, не пришлось бы становиться живым щитом. Может быть, был бы вариант — не «умереть за», а «сделать так, чтобы никто не умер». Может быть.

Аня в бассейне в тот вечер плавала невнимательно. Ирина заметила, спросила: «У тебя что?» Аня сказала: «Ничего, просто устала». Ирина посмотрела на неё внимательно, коротко: «Не отвлекайся. С отвлечённой головой в воде — плохо». Аня кивнула, сосредоточилась. Проплыла шестьсот метров. Вышла.

Дома, в общежитии, она достала блокнот и вписала под последней записью:

13 апреля — увидела объявление о боксе. Дмитровская, ул. Складочная, полуподвал. Пойти в пятницу.

Помолчала. Приписала:

Мне нужны руки.

В пятницу, четырнадцатого апреля, в девятнадцать двадцать пять, Аня стояла у дома шесть по улице Складочной.

Улица Складочная — это одна из тех улиц Москвы, о которых москвичи не думают, потому что там нечего делать, если ты не работаешь на одном из этих складов, не грузишь на одну из этих фур, не разгружаешь в один из этих ангаров, — длинная, серая, пропахшая мазутом и пылью улица, соединяющая одну промзону с другой. Аня приехала на метро до «Дмитровской», прошла пятнадцать минут пешком мимо гаражей, ангаров, каких-то складов с колючей проволокой поверх заборов; асфальт под ногами был весь в трещинах, из трещин пробивалась молодая жёсткая трава. Апрельский вечер быстро темнел. Фонари горели через один. Аня шла по чужой, промышленной, немосковской Москве, и ей было — не страшно, а как-то по-другому: было тихо. Внутри тихо. Внешне тоже.

Дом номер шесть оказался бетонным двухэтажным строением — с виду то ли брошенным конторским зданием, то ли ремонтной мастерской, то ли складом, — с крохотной табличкой у входа: «ООО "Метизы-Плюс"». Аня прошла мимо главного входа, свернула во двор — как было указано в объявлении. Двор был большой, замусоренный, с одиноким «Икарусом» без колёс у забора и с чёрным котом на капоте этого «Икаруса». Кот посмотрел на Аню жёлтыми глазами. Аня посмотрела на кота. Кот отвернулся.

В глубине двора, у бокового торца здания, была лестница вниз — короткая, четыре ступеньки, — и дверь. Обычная железная дверь, крашеная в тёмно-зелёный, с наклеенной от руки бумажкой: «БОКС». Стрелка. Всё.

Аня спустилась. Постояла у двери. Постучала.

Никто не ответил. Из-за двери — приглушённо, но отчётливо — доносился звук. Тук-тук-тук. Тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Пауза. Тук. Пауза. Тук-тук-тук. Ритмичный, глуховатый — стук по чему-то тяжёлому и упругому. Аня толкнула дверь. Дверь открылась.

Она вошла.

Полуподвал был маленький, длинный, с низким потолком и голыми лампочками в металлических цоколях. Пол — деревянный, скрипучий, в двух местах покрытый бордовыми матами. По стенам — грубо оштукатуренным, некрашеным, — висели плакаты: чёрно-белый Мохаммед Али в стойке, потрёпанный от времени; советский плакат «Спорт — здоровье!» с боксёром в красной майке; портрет какого-то незнакомого Ане пожилого мужчины с седыми усами и надписью «Николай Королёв, чемпион СССР». В дальнем углу — три боксёрских мешка, свисающих на цепях с потолка; чёрные, кожаные, с наклейками, с потёртостями. Один мешок — самый большой, посередине, — был чем-то залатан по боку: заплатка из другого куска кожи, аккуратно пришитая толстой ниткой.

По мешку били.

Мужчина — плотный, невысокий, лет тридцати пяти, в серой майке и синих спортивных штанах, — работал по среднему мешку. Работал ровно, серьёзно, не показно. Тук-тук — двойка. Пауза. Тук — джеб. Пауза. Тук-тук-тук — тройка. Мешок отвечал глухо. Пот на плечах у мужчины блестел под лампочкой.

У дальнего мешка, у левой стены, стоял, чуть согнувшись, второй человек. И это был, поняла Аня сразу, — тренер.

Он был невысокий — метр шестьдесят пять, не больше, — но плотный, широкий в плечах, с той особой квадратной осанкой, которую невозможно ни с чем перепутать. Лет ему было под шестьдесят. Голова — почти лысая, только по бокам остатки жёстких седых волос; нос — переломанный, кривой; уши — знаменитые боксёрские уши, «вареники», которые получаются после многих лет захватов и ударов и которые больше уже никогда не станут просто ушами. Он был в серой майке — старой, растянутой, — в спортивных штанах и в потёртых кожаных чужаках. Он не тренировал сейчас никого. Он сидел на корточках у мешка и — Аня поняла не сразу — латал заплату. У него в руках была толстая цыганская игла и суровая нить, и он методично, с прищуром, зашивал место, откуда клочок мешковой обшивки полез в сторону.

Аня стояла у входа.

Мужчина у среднего мешка её заметил первым — на секунду сбился с ритма, глянул через плечо, отвернулся, продолжил. Тренер поднял глаза чуть позже — не отрываясь от иглы; посмотрел на Аню, оценил (Аня почувствовала оценку кожей, короткую, полную, лишённую эмоций), кивнул на скамейку у стены:

— Сядь.

Голос был низкий, хрипловатый, спокойный. Не «здравствуйте», не «вы к кому», не «вы по объявлению». «Сядь». Аня села.

Тренер продолжал шить. Мужчина продолжал бить. Аня сидела, сложив руки на коленях, и осматривалась.

В зале, кроме этих двоих и её, никого не было. Женской группы, обещанной в объявлении, — не было. Часы над дверью, тоже старые, круглые, с чёрными стрелками, показывали девятнадцать сорок. До восьми — двадцать минут.

Тренер, не поднимая глаз, спросил:

— По объявлению?

— Да.

— Первый раз?

— Да.

— Вес?

Аня замерла. Она вдруг поняла, что не хочет отвечать. Не хочет вслух, при мужчине у мешка, при этих голых лампочках, — называть эту цифру. Но она уже, кажется, поняла и другое: этому тренеру врать не будешь. Не потому что он злой. Потому что бессмысленно. Он спрашивает вес не для оценки. Он спрашивает, потому что ему надо знать, как с тобой работать.

— Сто двадцать, — сказала Аня.

Тренер кивнул. Как будто она сказала «двадцать четвёртый размер ноги» или «третий курс». Информация. Ни больше, ни меньше.

— Раньше спортом занималась?

— Плаваю. Три недели.

— До этого?

— Ничего.

Тренер снова кивнул. Отложил иглу, воткнул её в мешок сбоку — так, чтобы не потерять. Встал. Разогнулся не сразу — Аня заметила, что колени у него плохие, — но встал; подошёл к скамейке, где сидела Аня, и сел рядом. Не близко — на расстоянии, но и не подчёркнуто

далеко. По-соседски. Он от него пахло — сухо, чисто; какой-то мазью, кажется, «Финалгон» или что-то похожее; и старым потом, но не сегодняшним, а въевшимся в майку за годы, — не отталкивающий запах, а свой, рабочий.

— Виктор Павлович Медведев, — сказал он, глядя не на Аню, а на мешок. — Виктор Палыч. Тренер.

— Аня Черезова.

— Ты одна пришла?

— Да.

— В группе, — Виктор Палыч кивнул на пустой зал, — три бабы. Оля, Света, Тоня. Оля с работы отпросилась, Света ребёнка не с кем оставить, Тоня в травме дежурит. Сегодня никого. Пятница.

— Ясно.

— Хочешь — сегодня один на один займёмся. Полчаса. Первое бесплатно, я обещал в объявлении.

Аня подумала.

— Хочу, — сказала она.

Виктор Палыч посмотрел на неё сбоку. Первый раз — прямо на её лицо. Глаза у него были светлые, серо-голубые, спокойные; взгляд не пронзительный, но плотный, из тех взглядов, которые видят тебя до нижнего слоя и не удивляются тому, что видят.

— Хорошо, — сказал он. — Раздевайся вон в углу, там ширма. Есть в чём заниматься?

— Есть.

— Кроссовки?

— Есть.

— Тогда пять минут тебе.

Он встал. Подошёл к мужчине у мешка — тот как раз закончил серию, — сказал ему негромко: «Серёга, я на новенькой полчаса, ты пока лапы понянчи». Серёга кивнул, стянул перчатки, взял в углу пару лап и стал сам себе разминать плечи, работая с воображаемым партнёром.

Аня зашла за ширму. Ширма была самодельная — три деревянных рамки, обтянутые старой белой простыней; за ней стояла обычная скамейка. Аня переоделась. Спортивные штаны — не те, для сна, а другие, чёрные, купленные вчера в «Спортмастере» за девятьсот рублей; футболка — тоже новая, синяя, свободная. Кроссовки — те же, «Демикс», уже разношенные, уже свои. Она собрала волосы в хвост.

Вышла.

Виктор Палыч стоял у среднего мешка. Уже без иглы, без нити. В руках у него была пара тонких боксёрских бинтов — красных, длинных, скрученных в аккуратные катушки.

— Иди сюда, — сказал он.

Аня подошла.

— Давай руку. Правую.

Аня протянула руку. Виктор Палыч взял её ладонь в свою — его ладонь была тёплая, сухая, жёсткая, вся в мозолях; ладонь человека, который всю жизнь что-то делал, — и стал бинтовать её кисть. Быстро. Точно. Молча. Один оборот вокруг запястья. Восьмёрка по большому пальцу. Обмотка суставов. Ещё одна восьмёрка. Закрепление. Всё это заняло, наверное, полторы минуты. Аня стояла и смотрела на свою руку, обмотанную красным бинтом, и не узнавала её. Рука была — уже другая. Уже — с намёком.

— Кулак сожми, — сказал Виктор Палыч.

Аня сжала.

— Не так. Большой снаружи. Всегда снаружи. Внутри — ломаешь.

Аня переложила большой палец. Сжала.

— Так. Теперь левую.

Он забинтовал левую. Точно так же. Молча.

Потом взял из корзины у стены две пары перчаток — старых, лаковых, с потрескавшейся кожей, — примерил Ане одну; сказал: «Мала». Взял другую. «Эта. Одевай».

Аня надела перчатки. Они были тяжёлые. Тяжелее, чем она думала. Как будто на руки надели два маленьких кирпича — один слева, один справа. Аня подняла их. Опустила. Подняла снова. Виктор Палыч смотрел.

— Тяжело?

— Тяжело.

— Ничего. Через месяц будешь их не замечать.

Он повёл её к мешку — не к тому среднему, где работал Серёга, а к малому, крайнему, стоящему у стены. Малый мешок был меньше в два раза, поменьше в диаметре; висел ниже, на такой высоте, чтобы можно было бить и с рук, и в корпус.

— Встань напротив, — сказал Виктор Палыч.

Аня встала.

— Ноги. — Он указал ей на ноги. — Не рядом. Одну вперёд, другую назад. Правую назад, если ты правша.

— Правша.

— Тогда правая — сзади. Носок правой — на уровне пятки левой. На ширине плеч. Слегка согни в коленях.

Аня подстроила ноги.

— Ниже. Ещё ниже. Так. Теперь бёдра — не разворачивай прямо к мешку. Полубоком. Полубоком, я сказал. Плечо левое — вперёд. Правое — назад. Так.

Аня стояла полубоком к мешку. Ноги согнуты. Плечи полу-развёрнуты.

— Руки. Обе — к лицу. Не к груди, к лицу. Кулаки — к скулам. Локти — прижать к рёбрам. Всё время. Всё занятие. Опустись — я сразу подойду и подниму. Понятно?

— Понятно.

— Стой.

Аня стояла. Виктор Палыч отошёл на шаг, посмотрел, вернулся, поправил ей левый локоть — тот отошёл от рёбер, — снова отошёл, посмотрел.

— Так, — сказал он. — Это стойка. Запомни её. Всё в боксе — из стойки. Из плохой стойки — ничего.

— Хорошо.

— Теперь. Джеб. Прямой левой. Просто. Быстро. Возвращай руку сразу. Смотри.

Он показал. Это было — коротко, ровно, красиво. Его левая рука выскочила, коснулась мешка (шлеп) и вернулась к скуле; всё это заняло, может быть, полсекунды. Мешок чуть качнулся. Виктор Палыч стоял, как стоял. Ни движения корпуса. Только рука.

— Теперь ты.

Аня попробовала.

Её рука полетела вперёд — не выскочила, а полетела, — и ударила мешок ладонью, потому что кулак в перчатке она не сжала как надо; удар получился ватный, глухой, стыдный. Мешок не шелохнулся. Аня почувствовала, как у неё горячо стало щекам.

— Стой, — сказал Виктор Палыч. — Не спеши. Плечо. Не рука бьёт, а плечо. Рука — это только продолжение. Смотри.

Он взял её левую руку — не грубо, а как берут инструмент, который надо настроить, — и провёл её по нужной траектории: медленно, показывая, как выпрямляется рука; как плечо чуть подаётся вперёд; как кулак смотрит вниз в момент касания; как рука сразу отскакивает назад, к скуле.

— Поняла?

— Не совсем.

— Хорошо. Ещё раз.

Он показал. Медленно. Быстро. Медленно. Быстро.

— Теперь ты. Плечо.

Аня ударила. Хуже, чем в первый раз.

— Ещё.

Аня ударила. Тоже плохо, но чуть иначе.

— Ещё.

— Ещё.

— Ещё.

Она била. Виктор Палыч поправлял. Стойка съезжала — он подходил, поправлял. Локоть отходил — поправлял. Кулак раскрывался — поправлял. Он говорил мало, коротко, только по делу. Не хвалил, не ругал. Просто — работал. Как чинил бы старый механизм: тут подкрутить, тут смазать, тут — снова подкрутить.

Через десять минут у Ани не было плеч.

Не в том смысле, что их не было — а в том смысле, что они уже жили отдельно от неё. Они горели. Они дрожали. Правая перчатка казалась тяжелее чугунной сковородки. Пот стекал по вискам, по шее, за ворот футболки. Дыхание сбилось. Между ударами Аня уже пыталась вздохнуть — тайком, — чтобы Виктор Палыч не заметил.

Виктор Палыч заметил, конечно.

— Стой, — сказал он. — Сядь.

Аня опустила руки. Пошла к скамейке. Села. Плечи болели. Спина болела. Ноги дрожали в коленях — не от усталости мышц, а от какого-то общего разлада, — как будто тело не понимало, что с ним произошло. Аня сидела, тяжело дыша, и смотрела на свои перчатки, лежащие на коленях, как две большие красные лапы.

Виктор Палыч сел рядом. На то же расстояние, что раньше.

Молчали.

Потом он сказал — не глядя на Аню, а глядя на среднего мешка, где Серёга что-то отработывал сам:

— Ты чего сюда пришла, Аня?

Аня подняла голову.

Она думала — как отвечать. Думала: «Хочу похудеть», «Для здоровья», «Тонус». Все эти слова, которые женщины говорят, приходя в спортзал. Все они были не то. Все они были неправда. И этот человек — Виктор Палыч Медведев, шестидесяти лет, мастер спорта, тренер, — этот человек умел отличать правду от неправды не потому что был проницателен, а потому что тридцать лет провёл рядом с людьми в стрессе, а стресс людей раздевает; и слышал он от них всё, что можно услышать, и знал, какие слова врут, а какие — нет.

Аня подумала — и сказала правду. Или её часть.

— Мне нужно уметь драться, — сказала она.

Виктор Палыч не удивился. Не переспросил. Не улыбнулся.

Он посмотрел на неё сбоку — теми же серо-голубыми плотными глазами, — и сказал ровно:

— Хорошо. Кто-то угрожает?

Аня открыла рот. Закрыла. Потом сказала:

— Не сейчас. Возможно — потом.

— Мужчина?

— Мужчина.

— Родственник?

— Нет.

— Знакомый?

— Нет. Незнакомый.

Виктор Палыч кивнул. Он не спрашивал больше. Он не давил. Он собрал информацию и оценил её — так же, как оценил её вес, — без эмоций.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда так. Слушай меня.

Он повернулся к ней — теперь всем корпусом, — и заговорил медленно, чётко, тем голосом, каким говорят важное:

— Уметь драться — это не то, что показывают в кино. В кино красиво. В жизни коротко. В жизни — три секунды, четыре, максимум пять. Если ты продержалась пять секунд — либо ты убежала, либо ты его свалила, либо тебя свалили. Долго не бывает.

Аня слушала.

— Тебе, — сказал Виктор Палыч, — не надо становиться боксёром. Тебе не надо на ринг. Тебе надо: не потерять голову в первые две секунды. Знать, куда бить. Уметь бить один раз — но так, чтобы засчиталось. И уметь падать так, чтобы встать. Всё. Больше тебе ничего не надо.

— А что для этого нужно?

— Год работы. Три раза в неделю. Через год — ты не боксёр. Но ты женщина, которая знает, что делать первые пять секунд. Это очень много. Большинство людей — и мужчин — этого не знают. Они замирают. Замер — умер. Единственный выбор в драке — не замирать. Всё остальное — вторично.

Он помолчал.

— Ты замирала когда-нибудь?

Аня посмотрела на него.

— Один раз, — сказала она. — Долго. Двадцать лет.

Виктор Палыч кивнул. Он понял. Не спросил, о чём именно она. Просто — понял.

— Ну и хорошо, — сказал он. — Значит, знаешь, как это. Значит, теперь будешь учиться не замирать. Вставай.

Ещё двадцать минут она отрабатывала джеб.

Виктор Палыч, теперь уже — иначе, ближе, спокойнее — работал с ней всё это время без перерыва. Он поправлял. Он показывал. Он вставал у мешка сзади, чтобы Аня видела угол удара. Один раз он подставил ей ладонь вместо мешка — раскрытую, широкую, — и сказал: «Попади». Аня ударила. Промахнулась. Ударила снова. Задела. Ударила в третий раз — и попала в центр ладони; ладонь чуть дёрнулась. Виктор Палыч кивнул.

— Есть контакт, — сказал он. — Это уже удар. Плохой пока — но удар.

К восьми часам Аня выжимала последние капли. Плечи не поднимались. Каждый удар был из последних сил. Виктор Палыч, посмотрев на её лицо, сказал:

— Всё. Хватит на сегодня.

Аня опустила руки.

Она села на скамейку. Виктор Палыч разбинтовал ей кисти — сам, никого не заставил учиться самому; сказал: «Первый раз я делаю. Потом — сама, я покажу». Он разматывал бинты медленно, аккуратно, скручивая их в тугие катушки. Аня сидела, тяжело дыша, и смотрела на его руки, которые двигались с той же уверенной точностью, с какой раньше двигалась игла, шившая мешок.

Когда он закончил, Аня спросила:

— Виктор Палыч, а сколько стоит?

— Абонемент — три тысячи в месяц. Двенадцать занятий. Первое бесплатно.

Аня прикинула. Три тысячи — это дорого. Три тысячи — это плюс к бассейну (полторы), плюс к репетиторству (её же надо кормить), плюс к транспорту, плюс к учебникам, плюс к тому, чтобы иногда просто съесть яблоко. Стипендия у неё была две с половиной. Плюс родительские две (мать переводила каждый месяц). Плюс репетиторство. Всего получалось тысяч

семь-восемь в месяц, и всё оно расходилось до копейки, — и вписать в это ещё три тысячи на бокс...

Впишу, — подумала Аня. — Найду.

— Я приду в понедельник, — сказала она. — С деньгами.

Виктор Палыч кивнул. Не сказал «жду», не сказал «отлично». Просто кивнул. Он был человек, который не тратил слов зря.

— Иди мойся, — сказал он. — Душ за той дверью. Полотенце своё принесёшь в следующий раз.

Аня встала.

— Спасибо, — сказала она.

Виктор Палыч посмотрел на неё. Первый раз за весь вечер — сказал что-то, что было не про технику:

— Не надо мне спасибо. Ты пришла — сама. Я тебе — ничего. Я тебя научу. Учиться — сама будешь.

Он повернулся и пошёл обратно к дальнему мешку, где до сих пор торчала цыганская игла. Опустился на корточки. Взял иглу. Продолжил шить.

Аня стояла минуту, глядя на его согнутую спину. Потом пошла к душе.

Вода в душе шла с перебоями — то очень горячая, то ледяная; Аня простояла под ней десять минут, регулируя ручку туда-сюда. Мышцы гудели так, что она удивлялась, как ещё держится на ногах. Плечи — плечи было не поднять. Она мылась одной рукой; вторая висела плетью. Потом переложила мыло, стала мыть другую. Смеялась про себя — коротко, беззвучно; смешно было, что вот тебе, Черезова, — двадцать минут работы, и всё, ты — тряпка. Двадцать минут. Мужчины, наверное, делают такое за полчаса и потом ещё бегают. А ты — тряпка.

Но эта «тряпка» — Аня чувствовала это отчётливо, — эта «тряпка» была новая. Не «слабая толстая девочка», а — «тряпка после работы». Разница огромная. «Слабая толстая девочка» — это когда ты ничего не делала и всё равно устаёшь; «тряпка после работы» — это когда ты сделала, и устала за дело. Первое унижает. Второе — гордит. Странно так — гордит.

Она вышла из душа, оделась. Волосы были мокрые; замотала полотенцем, натянула шапку. Собрала перчатки — Виктор Палыч сказал, что первый раз можно взять его, но потом купи свои, «не жадничай, свои — это своё», — и рюкзак.

Виктор Палыч, когда она вернулась в зал, стоял у среднего мешка и что-то показывал Серёге — какой-то приём в клинче, руками и корпусом. Аня остановилась у двери.

— Спокойной ночи, — сказала она.

Виктор Палыч, не оборачиваясь, поднял правую руку — коротко, ладонью назад. И продолжил показывать Серёге.

Аня вышла.

На улице совсем стемнело.

Двор с «Икарусом» лежал в тёплой апрельской темноте; кот с капота исчез, зато где-то за забором пел соловей — ошарашенно, невпопад, как поют соловьи, которые только-только прилетели и ещё не знают, что вообще-то в апреле в этой части Москвы соловьи не поют. Аня стояла у железной двери. Плечи болели. Кулаки — саднило суставы, — она посмотрела на костяшки: покраснели, но кожа не сорвана, бинты помогли.

Она подняла правую руку к лицу. Медленно. Посмотрела на кулак.

Ну вот, — подумала она. — Ну вот и ты, дорогая моя.

Ей было двадцать лет. Она весила сто двадцать один килограмм. Она была студенткой третьего курса факультета культурологии. Она жила в общежитии на Левобережной. Она сегодня в первый раз в жизни держала на руках боксёрские перчатки, стояла в боксёрской стойке и была по боксёрскому мешку.

Через триста сорок семь дней ей эти руки пригодятся.

Аня опустила кулак. Пошла со двора. Мимо ангаров, мимо гаражей, мимо колючих заборов. Соловей за спиной пел всё увереннее. Апрель дышал в спину — тёплым, живым, невозможным дыханием апреля. Метро было в пятнадцати минутах. Дома ждала Кристина, ноутбук с корейцами, чайник, чашка чая. Завтра — суббота. Ходьба в парке. Продукты. Стирка. Конспекты. Обычная жизнь.

Аня шла медленно.

Плечи болели. Кулаки болели. Дышалось хорошо.

Понедельник, — думала она. — В понедельник в восемь.

Виктор Палыч.

Три тысячи.

Найду.

Она вышла на освещённую улицу — на настоящую, московскую, с фонарями, с проезжающими машинами, с двумя девушками у ларька, покупающими кофе на вынос, — и растворилась в этой обычной вечерней Москве. Одна из многих. С мокрыми волосами под шапкой, с рюкзаком за спиной, с болящими плечами. Никто на неё не оглядывался. Никто не знал, что она сегодня в первый раз в жизни ударила по мешку.

И это тоже было хорошо. Никто не знал — но она знала.

Впервые за двадцать лет Аня Черезова знала о себе что-то, чего не знал больше никто.

И это знание, — маленькое, тайное, тёплое, — грело её всю дорогу до общежития.

Глава 7. Двое из семерых

Костя позвонил в пятницу вечером, двадцать первого апреля.

Аня как раз возвращалась с бокса — четвёртое занятие в общей сложности, второе в новую неделю; шла от «Дмитровской» к метро, плечи гудели, в ушах ещё стоял тук-тук по мешку и низкий, ровный голос Виктора Палыча: «плечо, Аня. Плечо, а не рука». Она шла и думала об этом голосе — думала о том, как он умеет говорить одну и ту же фразу двадцать раз подряд без раздражения и без снисхождения, просто повторяя, пока ты не услышишь. У Ани в жизни не было таких голосов. Мать говорила громко и с надрывом. Отец — очень редко, но твёрдо, как ставят точку. Братья — весело, шумно, перебивая друг друга. А вот такого — ровного, никуда не спешащего, не требующего от тебя ничего, кроме того чтобы ты постепенно научилась, — такого голоса Аня прежде не встречала. И она думала: а сколько же ещё в мире голосов, которых я не встречала. И сколько людей, которые говорят иначе, чем я привыкла слышать. И почему я двадцать лет считала, что знаю, как разговаривают взрослые.

Телефон в кармане завибрировал. Аня достала. На экране высветилось: Костя-питерский. Аня улыбнулась, приложила к уху.

— Кость.

— Черезова.

Голос у Кости всегда был один и тот же — насмешливый, немного гнусавый, с той характерной ленцой айтишника, который в двенадцать лет решил, что взрослые не заслуживают его серьёзности, и с тех пор никого в этом убеждении не переубеждал. Аня знала этот голос всю жизнь. Он был для неё «домашнее радио»: включаешь — и сразу становится теплее, даже если ничего не сказано.

— Кость, ты чего?

— Черезова, у меня для тебя две новости. Хорошая и подозрительная.

— Давай.

— Хорошая: я в понедельник приезжаю в Москву. Командировка на неделю. Заказчик тут в Сколково, надо им внутренние процессы поднять, а то они помирают.

— Ух ты. А подозрительная?

— Подозрительная: маман два дня меня инструктировала.

Аня остановилась посреди тротуара. Мимо неё, огибая, прошли двое подростков; один задел её плечом, буркнул «извините». Аня не заметила.

— В каком смысле — инструктировала?

— В прямом. Кость, значит, ты Анечке чего-нибудь купи из "Ашана", тушёнки нашей возьми, ну тушёнки коробку, вот я тебе список пришлю. Кость, ты за ней там присмотри, она худеет что-то, я по голосу слышу, мне это не нравится. Кость, ты её накорми нормально, а то она там на своих сухарях сидит. Кость, ты ей скажи, чтобы позвонила, не звонит уже полторы недели. Кость, ты мне отчёт. Кость, я на тебя надеюсь. Кость, ты понял?

Аня медленно выдохнула.

— Понял, — сказала она.

— Черезова, — сказал Кость. — Она нормальная вообще?

— Она нормальная. Просто она — мама.

— Она — мама, доведённая до кондиции. Я её сроду такой не слышал. Ты что там, действительно на сухарях?

— Нет, — сказала Аня. — Я нормально ем. Просто по-другому.

— По-другому — это как?

Аня подумала.

— По-другому, — сказала она, — это когда ты ешь, потому что голодная, а не потому что тебе одиноко. И когда ты знаешь, что положила на тарелку и зачем. И когда встаёшь из-за стола не с ощущением "надо теперь полежать час", а с ощущением "ну вот, хорошо".

Костя молчал секунды три.

— Черезова, — сказал он потом, и голос у него был уже без ленцы, — а ты чего это.

— Ничего. Просто пробую.

— Ты в порядке?

— Кость. В порядке. Клянусь.

— А ты не влюбилась случайно?

Аня чуть не поперхнулась воздухом.

— Кость. Ты серьёзно?

— Ну а что. Я, конечно, аналитик, но так-то самое простое объяснение обычно и есть правильное. Женщина двадцати лет вдруг перестаёт есть тушёнку и начинает — я цитирую мать — "нести какой-то бред про сухарики". Первое, что приходит в голову.

— Не влюбилась.

— Точно?

— Точно, Кость.

— Тогда что.

Аня стояла посреди тротуара — люди её обтекали, — и думала: как объяснить. Как объяснить брату, который знает тебя всю жизнь, который в четырнадцать лет побил на пять лет старшего пацана за то, что тот назвал тебя коровой во дворе, — как объяснить ему, что ты умерла в автобусе и вернулась, и что теперь у тебя триста тридцать восемь дней, и что ты учишься драться в полуподвале на Складочной, и что тебе нужны руки. Никак. Не объяснишь. Не поверит. И даже если поверит — не надо ему это. Пусть носит свою жизнь налегке.

— Приезжай, — сказала Аня. — Поговорим.

— Куда мне приехать?

— Не куда. Ко мне. То есть — не в общагу, я тебя не приглашаю в общагу, туда не смотри, там тебе будет тошно. В кафе. Есть на Марксистской кафе "Академия", я там сижу иногда между парами. Приезжай в понедельник вечером после своего Сколково. В семь. Я угощаю.

— Ты? Меня? Угощаешь?

— Я.

— Черезова, я вижу, ты не только едой поменялась.

— Приезжай, Кость. Всё расскажу, что смогу.

— Приеду. И тушёнку привезу. Мать зашлёт — я не отобьюсь.

— Привози, — сказала Аня. — Съедем.

— Кто съест? Ты?

— Ты. Ты и съешь.

— Черезова.

— Ну что.

— Хорошо, что ты живая, — сказал Костя вдруг серьёзно. — А то мне что-то последние две недели тревожно про тебя, сам не знаю, чего.

Аня замерла. Люди её обтекали. Апрельский вечер стоял вокруг — уже тёплый, уже почти майский; фонари загорались один за другим по улице; в воздухе пахло тающим снегом, который последним пятном лежал под кустами у забора, и первой землёй.

— Ничего, — сказала она тихо. — Я живая, Кость. Правда. Живая.

— Ну и слава богу. Всё, до понедельника.

— До понедельника.

Аня убрала телефон в карман. Постояла ещё секунду. Потом пошла к метро — уже другой, не той походкой, что раньше. Что-то в ней устоялось от Костиного «живая». Кто-то с той

стороны — там, где Питер, где семья, где родное, — кто-то оттуда сказал ей это слово; и оно прошло сквозь неё и вышло с другой стороны, оставив тёплый след.

В понедельник, двадцать четвёртого апреля, в шесть тридцать вечера Аня стояла перед шкафом и не знала, что надеть.

Это было — неожиданно. Никогда в жизни она не знала, что надеть. У неё всегда всё было ясно: чёрные штаны, тёмная кофта, серая куртка. Форма, спасающая от внимания. А сегодня она стояла перед шкафом и вдруг понимала, что не хочет надевать серое. Не хочет прятаться. Не для Кости. Для себя.

Она вытащила из глубины полки жёлтый свитер. Тонкий, шерстяной, с воротом; мать подарила его в позапрошлом году, привезла из «Меги», сказала: «Анюта, тебе жёлтый должен идти». Аня надела свитер один раз в примерочной, посмотрела на себя и убрала на полку навсегда. Жёлтое — не для толстых, знала она. Жёлтое подчёркивает. Жёлтое — для стройных, для смелых, для тех, у кого хорошо с самооценкой.

Она стояла перед шкафом и держала жёлтый свитер в руках.

Ну а зачем ты тогда его хранила, — подумала она. — Полтора года хранила. Не выкинула же. Значит, зачем-то же держала.

Она надела свитер.

Свитер сел. Не так, как сел бы на Кристину, конечно, — но и не так плохо, как Аня ждала. Жёлтый цвет тёплый; на её лице он вдруг оказался — своим. Как будто лицо ждало этого цвета. Аня посмотрела в маленькое зеркало над раковиной. Увидела женщину в жёлтом свитере, с гладко зачёсанными назад волосами, с чуть подкрашенными ресницами (косметичка, купленная неделю назад в «Магните», четыре предмета всего: тушь, помада, крем, пудра). Женщина в жёлтом свитере посмотрела на неё серьёзно.

— Ладно, — сказала Аня зеркалу. — Пошли к Косте.

Она надела куртку, взяла сумку, вышла.

Кафе «Академия» на Марксистской — это было маленькое студенческое место с видом на трамвайные пути, с деревянными столами, с барменом-первокурсником, которого Аня видела на паре по культурологии, с меню, где всё стоило до трёхсот рублей, и с той особенной атмосферой временного пристанища, которая бывает в кафе рядом с университетом: сюда никто не приходит навсегда, все — на два часа, между чем-то и чем-то. Аня пришла в шесть пятьдесят. Заняла угловой стол у окна.

Костя опоздал на восемь минут — он всегда опаздывал на восемь минут, это была семейная константа; Лёша опаздывал ровно на пятнадцать, Димка не опаздывал никогда (он не помещался в социальные конвенции и приходил либо за полчаса до, либо через час после), а Костя — на восемь. Он вошёл в кафе — высокий, худой, в чёрной куртке-бомбере, в очках, с этой своей вечной сумкой-мессенджером через плечо, — и Аня узнала бы его в толпе с закрытыми глазами: по осанке. У всех троих братьев была одна и та же осанка — прямая, слегка развёрнутая, с чуть-чуть выставленным вперёд подбородком; отцовская осанка. Мать говорила: «Черезовская порода».

Костя увидел её, поднял руку, махнул. Пошёл к столу.

Он не дошёл до стола.

Он остановился на полпути. Посмотрел. Прошёл ещё три шага. Остановился ещё раз. Смотрел.

— Черезова, — сказал он громко, на всё кафе, так что бармен-первокурсник обернулся. — Черезова, это ты, что ли?

Аня встала. Улыбнулась. Она понимала, что происходит.

— Кость, — сказала она. — Ты чего встал, иди сюда.

— Ты, — Костя подошёл ближе, — ты... не, ты подожди. Ты чего это.

— Что.

- Ты в жёлтом.
- В жёлтом.
- Ты худая какая-то.
- Не худая, Кость. Просто чуть меньше.
- А сколько?
- Сто пятнадцать.

Костя молчал. Он подошёл ещё ближе — уже вплотную, — и вдруг сделал то, чего Аня от него не ждала: обнял. Крепко, не по-Костиному; Костя вообще не был обнимательным братом, он был из тех, кто ерошит тебе волосы или тыкает в плечо, но обнимать — это по редким случаям, чаще всего когда провожал или встречал. Сейчас он обнял, и обнял так, как обнимают, когда испугались.

- Кость, — сказала Аня ему в куртку. — Кость, ты чего.
- Ничего, — сказал Костя. — Ничего, Черезова.

Он подержал её ещё секунду. Потом отпустил, отступил, сел за стол напротив. Снял куртку. Положил сумку рядом. Посмотрел на Аню — уже сидящую, — снова посмотрел. Провёл рукой по лицу.

- Слушай, — сказал он, — а мать была права.
- В чём?

— В том, что она по голосу слышит. Она мне вчера сказала: «Кость, я тебе сразу говорю, чтобы ты не удивлялся, она другая». А я думал — ну, мать, мнительная. А сейчас захожу — а ты в жёлтом. И худая. То есть не худая, я же понимаю, но — другая. У тебя лицо другое.

- Какое?
- Живое, — сказал Костя.

Аня опустила глаза. Взяла со стола салфетку, зачем-то стала складывать её вчетверо.

- Кость, — сказала она. — Ты чего кофе не заказал? Ты же выпить хотел.
- Черезова.
- Что.
- Черезова, я к тебе не кофе пить приехал.

Она подняла глаза.

Костя смотрел на неё через стол. Снял очки, протёр, надел. За эти пять минут — Аня видела — он из брата-айтишника, из брата-который-шутит превратился в кого-то другого; в человека, который знает Аню двадцать лет и вот сейчас понял, что её ускользнули из его наблюдения на две недели, а он не заметил.

- Черезова, — сказал он. — Что происходит?

Аня положила салфетку. Помолчала.

Она думала об этом всю неделю. Как рассказать. Что рассказать. Сколько правды выдержит человек — не любой, а Костя, — конкретно Костя; она знала брата очень хорошо. Костя был из тех, кто верил в логику, но не отказывал в существовании тому, что логике не поддавалось. Костя мог принять «странное» — если оно было упаковано в чётко очерченное «странное». Костя не мог принять «безумное». Значит, надо было упаковать безумное так, чтобы оно стало странным.

- Кость, — сказала Аня. — Я тебе расскажу, но не всё. Хорошо?
- Хорошо.
- И ты не будешь ни матери, ни Лёше, ни Димке. Хорошо?
- Хорошо.
- Обещай.
- Обещаю. Ну.

Аня набрала воздуха.

— Со мной кое-что случилось, — сказала она. — Не физически. В голове. — Она подумала. — Точнее — в голове это тоже физически, но не важно. Мне что-то... щёлкнуло. В марте. Я вдруг увидела свою жизнь со стороны. Полностью. Двадцать лет. И увидела, что я двадцать лет живу как под водой, не всплывая. И что если сейчас не всплыву — то никогда.

Костя слушал. Молча.

— Я не могу тебе рассказать, что именно случилось, — сказала Аня. — Потому что не поверишь. И потому что мне самой ещё сложно с этим. Но, Кость, поверь мне: я не в секте. Я не влюбилась. Я не сошла с ума. Я просто перестала — прятаться. Я хожу в бассейн. Я хожу в парк. Я хожу в... — она чуть замялась, — на занятия. Я по-другому ем. Не голодаю. Просто ем то, что мне помогает, и не ем то, что мне мешает. Я готовлюсь к сессии в первый раз в жизни как человек. И — что-то происходит.

— Что происходит?

— Я не знаю, как это назвать. — Аня посмотрела в окно, на трамвайные пути; трамвай как раз проезжал, освещённый, полупустой. — Меня стало больше. Не по объёму, — она усмехнулась, — а как-то по-другому. Меня стало больше в комнате. Больше в аудитории. Меня видно. И — Кость, — это оказалось не страшно. Всю жизнь я боялась, чтобы меня было видно. А теперь — не страшно.

Костя молчал долго. Потом сказал:

— Черезова, а мать почему такая нервная?

— Потому что она чувствует.

— Что?

— Что я меняюсь. И боится, что уйду.

— Куда уйдёшь?

— Не физически. Из семьи. — Аня посмотрела на брата. — Кость. Мы все — Черезовы — общаемся через еду. Ты помнишь. Бабушка командует «Анечке ещё». Мать варит и присылает. Мы за столом собираемся, и стол — это наше всё. А я перестаю. Я, конечно, не ухожу — я не собираюсь никуда уходить, — но я перестаю быть той, которую вы кормили. И это все чувствуют. Мать первая. Мать боится, что если я перестала быть «Анечкой, которой ещё», то я перестала быть — просто Анечкой.

— Ты — не перестала.

— Я знаю. Но ей надо это услышать. От меня. И, может быть, от вас.

Костя снял очки. Долго тёр переносицу. Потом надел.

— Черезова, — сказал он. — Знаешь, что.

— Что.

— Я приехал сюда, чтобы тебя откормить. У меня в сумке — я тебе покажу, — у меня в сумке две банки тушёнки, банка сгущёнки, пакет сухарей, банка варенья и от бабушки — рогаики. Она печёт до сих пор. По воскресеньям. Ты знаешь.

— Знаю.

— Я всё это привёз, потому что мать сказала: «ты её должен накормить, Кость, я на тебя надеюсь». И я думал — приеду, съедим тушёнку, посмеёмся, всё в порядке. А сейчас — сейчас я сижу, смотрю на тебя, и мне на самом деле хочется тебя не накормить, а обнять ещё раз. И, может, поплакать. Только я мужик, я не буду.

Аня улыбнулась.

— Плачь, Кость. Я никому не скажу.

— Не, — сказал Кость. — Не буду. Не заслужил я плакать. Ты же одна тут всё это делала.

— Не одна, — сказала Аня. — Есть люди.

— Какие?

— Разные. Тренер по плаванию. Тренер по... по одному ещё делу. Соседка по этажу с мехмата, я с ней подружилась. Врач одна, Ольга Юрьевна, сказала мне слово «молодец» — я в

первый раз в жизни от врача услышала. Бабуля в парке, которая мне посоветовала не смотреть на бегунов. Ещё в столовой у нас тётя Нина, — Аня засмеялась, — она следит за тем, что я беру на поднос, как за родной. Люди появляются, Кость. Когда ты сам куда-то идёшь — люди появляются. Я раньше не знала.

Костя смотрел на неё.

— Черезова, — сказал он тихо. — Ты стала взрослой.

— Кость, мне двадцать.

— Ну и что. Я не про паспорт. Я про то, как ты сейчас говоришь. Я тебя такой не слышал никогда. Ты — знаешь, что ты сказала? — «когда ты сам куда-то идёшь — люди появляются». Это, Черезова, взрослая фраза. Это не двадцатилетние такое говорят. Это те, кто уже упал и встал.

Аня посмотрела в окно.

— Ну, — сказала она, — упасть-то я успела.

— Когда?

— Кость. Я не расскажу. Правда — не расскажу. Не потому что я тебя не люблю. Потому что тебе не надо. Ты живёшь свою жизнь, у тебя Питер, у тебя работа, у тебя девушка — как её, Юля?

— Юля.

— Как она, кстати?

— Нормально. Хорошая.

— Женишься?

— Черезова, не съезжай с темы.

— Женись, Кость. Хорошая — редкость.

Костя посмотрел на сестру.

— Черезова, — сказал он, — ты меня пугаешь.

— Чем?

— Тем, что ты умная. Ты всегда была умная, я знаю. Но раньше ты умную прятала. А сейчас — не прячешь. И я не знаю, как с тобой теперь. Мне надо привыкнуть.

— Привыкай, — сказала Аня. — Я никуда не денусь. Просто теперь ты со мной разговариваешь без скидки. Ну и с Димкой то же самое будет. И с Лёшей.

— А мать?

— Мать сложнее. С матерью я поговорю сама. Скоро. Я ей позвоню — не завтра, — но скоро. Мне надо ещё словами обрасти, чтобы говорить с ней. С тобой я как-то нашла, а с ней — надо ещё.

— Черезова.

— Что.

— Я тебя люблю.

Аня замерла.

Костя это сказал — просто. Не пафосно, не громко; сказал буднично, как «передай соль». Но у Черезовых так не говорят. Черезовы говорят «ты моя», «Анька, ты чего», «садись, ешь», «звони, если что». А «я тебя люблю» — это Черезовы не говорят. Это, кажется, не потому что не любят, а потому что стесняются самих слов; для Черезовых любовь — это дело, а не разговор. И вот Костя, айтишник в очках, аналитик, брат, который в четырнадцать лет побил пацана за «корову», — Костя сейчас сказал вслух ей это слово; сказал, потому что почувствовал, что иначе не поместится.

— Кость, — сказала Аня, и у неё дрогнул голос. — Я тебя тоже.

Он кивнул. Отвернулся к окну. Помолчал.

Потом, вернувшись к обычному, сказал:

— Черезова, а есть тут можно вообще? Ты меня в кафе позвала.

— Можно. Меню перед тобой.

— Что ты будешь?

— Я? Гречку с курицей.

— Ты сдурела?

— Кость, — сказала Аня, — я так уже полтора месяца ем. Не сдурела. Просто хорошо себя чувствую.

— А я тогда возьму штруделя. И кофе. И, ты знаешь, наверное, ещё сэндвич. Раз уж я твою тушёнку сам буду есть.

— Бери, — сказала Аня. — Я угощаю.

— Черезова.

— Что.

— Дай я сам заплачу.

— Нет.

— Ну хватит.

— Кость, — сказала Аня твёрдо. — Я тебя пригласила. Я заплачу. У меня есть свои деньги. Не много, но есть. И это тоже — важно. Я в первый раз в жизни угощаю брата. Не отбирай.

Костя посмотрел на неё.

— Ладно, — сказал он. — Уговорила. Но ты знай, что я себе это отметил. Я тебе потом отработаю.

— Отработаешь.

Они сделали заказ. Кофе, штрудель и сэндвич — Косте. Гречка с курицей и морс — Ане. Они сидели два часа.

Разговаривали — обо всём. О матери. Об отце. О Лёше, который в марте закончил здоревенный подряд в Верхней Пышме и купил себе наконец новую машину — не новую-новую, а более-менее свежий «Форд», — и как отец за него радовался, и как мать волновалась, что «машина — это уже вешалка на шее». О Димке — Димка в шестнадцать лет вдруг увлёкся программированием, писал по вечерам код, и Костя ему помогал по скайпу, и уверял Аню, что «пацан с головой, лет через пять из него человек будет». О двоюродных: Артём собрался жениться (на Свете, которая три года его тянула, тянула, тянула, — и вот, тянула успешно), Руслан всё так же сидел без работы после увольнения из полиции, о чём не любил говорить, но Костя знал; Паша — Паша исчез, как обычно, на его страничке во «ВКонтакте» три месяца тишины, и мать волновалась, но так, невсерьёз, «Пашка всегда так, найдётся»; Женька — Женька был Женька, всё так же гремел, шутил, работал в автосервисе, спал с двумя одновременно (о чём Костя рассказал Ане со смесью зависти и осуждения) и был счастлив.

О бабушке Тамаре — что ей уже семьдесят девять, что она стала жаловаться на спину, но по-прежнему пекла рогалики по воскресеньям и по-прежнему командовала за столом. И тут Костя замолчал, и Аня поняла, что он молчит не просто так.

— Бабушка знает, что я к тебе поехал, — сказал он. — Мать ей сказала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.